

Александр
Покровский

КОТ

рассказы и роман

ИНАПРЕСС



Александр Покровский

КОТ

рассказы и роман



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ИМАПРЕСС
2002

**ББК 84 р. 7-5
П 48**

**Редактор Н. Кононов
Художник М. Покшишевская**

ISBN 5-87135-136-0

© А. Покровский, ИНАПРЕСС, 2002

© ИНАПРЕСС, К. Себастьян, оформление, 2002

Странно смотреть

Странно смотреть, как совершенно незнакомые люди читают мои книжки.

Такое чувство, будто я здесь совершенно ни при чем: я — сам по себе, книги — тоже.

Однажды я несколько минут смотрел на лоточника, который, забросив свой лоток, сидел на асфальте и дико ржал. Люди шли мимо, обращались на него, а он не обращал на них никакого внимания; казалось, вокруг для него вообще никого не существовало — только он и книга.

А еще мне рассказывали, что кто-то вместо исполнения супружеских обязанностей читал ее жене и весь секс пошел насмарку.

А потом был такой случай, что человек гоготал на всю электричку, а все вокруг ехали два часа, не шелохнувшись, потому что решили, что рядом псих.

Кто-то читал в госпитале, где лежал с инфарктом, а потом выздоровел и говорил, что от смеха.

_____ 5



Кто-то — врач — читал душевнобольным и потом утверждал, что они все поняли, и ему теперь хотелось бы повидать автора, потому что так просто с чокнутыми не достигнуть взаимопонимания, и поэтому ему интересно было бы посмотреть на меня, и это интерес не праздный, но профессиональный.

А вот что прислали в письме с Дальнего Востока: «Как-то к нашему командиру в гости приехал генерал, который окончил академию ГШ. Как водится, туда, сюда, Паратунка... Ночью генерал заснуть не может — разница девять часов с Москвой. Чтобы как-то скоротать время, командир дал, на свою голову, почитать «Расстрелять». Всю ночь домик сотрясался гоготом. А в половине шестого генерал разбудил командира и говорит: «Вадим, ты представляешь, а я тоже про дырки в тапочках спрашивал. Неужели это так смешно?»

А сейчас я расскажу две истории о том, как я сталкивался со своими читателями.

Первая — про Алексеева.

Утром звонок по телефону. «Саня! Это ты написал книгу?»

Когда утром говорят «Саня», я обычно отвечаю: «Я».

«Это Алексеев! Флагманский штурман. Помнишь меня? (Нечленораздельное «эм-мм».) Ты на дивизии флагманским химиком был, а я штурманом. Ну, вспомнил?(Конечно. Правда, я флагманским никогда не был, но зато часто его заменял.) Здорово! Меня тут в Питер, в институт, назначили, ну и перестройка, сам понимаешь, не

успел дела принять — весь ЗИП из кладовки свистнули. Сижу, горюю. Там золота в платах килограммов на тридцать. Заходит командир и говорит: «К тюрьме готовишься?» Я ему: «Готовлюсь». Он мне: «Пока готовишься, на, почитай», — и дает твою книжку. Я так смеялся, а потом подумал: «Да хрен с ней, с тюрьмой и с золотом тоже!»

Позже мы с ним встретились. Вхожу в кабинет — совершенно незнакомый мужик. Он опешил. Дело в том, что у меня есть однофамилец — Саня Покровский, и он тоже химик, поступали вместе в училище, а потом — пьянка-драка, и его на год на флот отправили, — по его собственному выражению, «чем-то груши околачивать», но вернули и дали доучиться. Саня очень хороший человек, но с лица не совсем поэт.

«Вот и я думаю, — говорил потом Алексеев, — как он мог книгу написать?»

Вторая история — про соседа Владимира Семеныча. Мы с ним получили от родины жилье в одном доме и поехали за кафелем на его «Жигулях».

«Слушай, — говорит мне Семеныч по дороге, — тут один наш с Севера про флот написал. Не читал? Покровский. Я тут спрашивал, он на Севере служил»

Я, честно говоря, почувствовал себя неудобно. Владимир Семеныч — бывший зам. командира дивизии, а среди них мало нормальных. Меня он пока не знает, как он к рассказикам относится — непонятно.

«Классно пишет! Слушай, ну как вот жизнь нвтуральная! Мы учения в Калининграде проводили,

А. Покровский

так какие там учения, все завалили: сидели и вслух читали — умрешь!»

Тут я ему решил признаться, что Покровский — это я.

Он посреди дороги бросил руль и на меня уставился — чуть в дерево не въехали.

Пес

Я закрываю глаза и слушаю ночь.

Она – как зверек. Точнее, как его шерсть. Я люблю шерсть. Ее можно перебирать, пропускать между пальцами. Она между ними течет.

А потом ночь сама тебя пробует. Она прикасается к тебе, прилипает, приникает, и ты становишься ее частью, становишься, как она. Но она не уничтожает тебя. Нет.

Если тебе захочется, выйдешь из нее и снова станешь собой.

Это здорово.

В ночи живут звуки. Они живут сами по себе. Они здесь обитают. Здесь их дом. Они здесь рождаются и умирают. То затаиваются, то возникают. Ночь – их прибежище. Ветер, ручей, шелест листвы, топот ежа, стрекот цикад — все это звуки.

Люблю, чтобы было лето. Если его нет, его можно вызвать.

Мысленно.

И добавить в него запахи — травы, воды.

Можно земляники. Она щекочет ноздри.
А ягоды лезут в уши.

— Эй!

Это меня. Бросок — и я растворяюсь.

Я умею это делать. Надо только понять, что ночь тебе не враг, и тогда в нужное время ты в ней пропадешь. Легко, как крылья совы.

Ночь — моя. Я ее не отдам.

Пускай день отойдет им, а ночь — мне. Чуть стемнело — утекаю за дверь. С некоторых пор умею течь — движения плавные, любое препятствие словно оглаживается. В это время у меня не бывает костей.

Никто никогда не видел, как я исчезаю.

Хотя однажды их старший столкнулся со мной в дверях. Он сейчас же ослабился:

— Счастливой охоты!

У меня дрогнули губы. Кажется, и я улыбнулся в ответ. Во всяком случае, я посчитал, что улыбаюсь, но он отпрянул, пробормотал:

— Чокнутый, вот чокнутый...

Как-то услышал, что рычу. Кто-то подходил со стороны оврага. Он наступил на сучок, и я услышал свое ворчанье. Оно совсем тихое и идет от груди.

Они теперь часто приходят.

Иногда нахожу записку: «Выходи один».

Это они мне. Больше никому.

Они — людоеды. Людоеды никогда не приходят одни. Я всегда выхожу им навстречу.

И убиваю всех.

Они меня никогда не видели.

И не увидят.

Они даже не понимают, что происходит. Что-то прилетело и ударило в грудь. Совсем тихо. Он только ойкнул.

Мало ли что умеет летать.

Может быть, это были карандаши?

Конечно. Это карандаши. Много карандашей. По два в секунду.

Я бросаю их на звук.

Людоеды громко дышат.

Так нельзя.

Если хочешь жить, нужно научиться вообще не дышать.

Карандаши я делаю из электродов. Заостряю оба конца.

И еще я делаю летучую мышь. Мастерю ее из обложек книг.

На развалинах встречаются книги.

Картонки затачиваются по краям. Они становятся острее бритвы. Кусочек железа сажается на клей. Центр тяжести должен быть смещен. Такая мышь может отрезать голову.

Меня Серега научил.

Его положили под кинжальный огонь. Наших всех положили.

Тот, из штаба.

Я смотрел ему в глаза. Я знал, что все погибнут. Все, кроме меня. На мне — ни царапины, а били плотно с двух сторон, и хотелось превратиться в спичечный коробок, завалиться в расщелину.

Тот, из штаба, знал, что мы умрем. Я чувствовал, что он знает. Людей чувствую издалека: свой — чужой, плюс — минус.

Я тогда сутки пролежал под листьями.

Потом подошли волки...

А людоеды живут семьями. У них есть женщины, дети. Из детей вырастут новые людоеды, поэтому я убиваю всех.

Главное, чтобы никто меня не видел.

Я стреляю из рогатки. Шариками от шарикоподшипников.

На двадцать шагов пробиваю железный лист и височную кость.

Мы с Серегой тренировались: играли в невидимок. Мешки делали сами. Снаружи черный, внутри белый. Он закрепляется на руках и ногах. С ним можно прыгать с высоты пяти метров. Нужно только распластаться в воздухе, как белка.

И воздух держит.

А у земли следует сгруппироваться — автомат за спину.

Серега говорил: если полюбить автомат, он будет, как брат. Своему я сам сделал глушитель.

На охоте сначала нюхаю воздух. Он не должен пахнуть смазкой мин.

Иду медленно. Не оставляю следов.

Те, с кем я сейчас, долго не могли понять, как я это делаю. Я показал. Они совсем ничего не умеют. Даже не чувствуют мин.

А я — как на стену натыкаюсь.

Тропу в темноте нахожу легко.

И ставлю на ней самострелы. Задел — кол в бок. Самое простое — садовые грабли. Бросашь их в снег, а на ручке — шип. Так не убьешь, конечно, но человек вскрикнет.

На крик выйду я.

А из подвалов я их добываю горелой ветошью. Сами на пулю лезут.

Когда я только появился в их взводе, меня захотели покачать. Напали впятером, ночью. Я успел бросить три ножа. Теперь у нас мир...

Ты да я

Пенелопочка, моя дорогая, ты прибываешь, моя цыпочка, — большая, огромная, золотистая в различных своих проявлениях и вся такая волосатая-волосатая, и каждый твой волосок виден, отличим; по мере приближения он стремительно увеличивается в толщину, жирнеет и становится как бревно, как полено, он надвигается, бьет по глазам, а я такой маленький, неказистый с точки зрения растущего народонаселения, не выводимый с листа, как помарка, а ты, моя полнокровная, уже наваливаешься, нависаешь надо мной, твое дыхание — как молот, колышутся твои ужасающие груди, соски, на фоне всего остального лишённые буйной растительности, кажется, издают квакающие звуки, ходит ходуном шкварчащий живот и его умопомрачительно урчащие складки, перемещаются одна относительно другой, как волны, как девятые валы или как жернова, и снова, как валы, с удивительной впадиной, где затаился коварный пупок.

О, я знаю, он хочет вырваться, выпрыгнуть, как зверек, и я перед ним в размерах совершенно соизмерим, и все эти мои жалкие потуги, которые только и могут быть с ним соотнесены, если переводить их во что-то телесное, и я ною в предвкушении испытания, во мне оживают тонкие вибрации и дрожат невыразительные поджилки.

И вот, подломившись в пояснице, я поднимаю свой фаллос — он один лишь с тобой сопоставим, совпадает в полночных размерах, он — мой труд, мое мученье, мой червь, мой непостижимый багаж, остальное не в счет.

Обычно я тащу его на прицепе, как бурлак автомобиль, но час пробил — и вот теперь я поднимаю его, накачивая кровь.

Он встает, и ты на него садишься.

Я — паук, ты — паучиха.

Это сон.

Пупок

Я тут недавно ковырял свой пупок, выяснял, как там дела. Сидел перед телевизором, смотрел новости и упражнялся.

Я новости смотрю раз в неделю, чтобы знать, в какой стране я все еще нахожусь, и ковыряние пупка к этому делу необычайно подходит.

Нет! Можно, конечно же, и не ковырять, но так уж у меня повелось: как только замелькали на телеэкране знакомые телеведущие, я сейчас же нахожу пупок и начинаю его очищать — точь-в-точь самка кенгуру перед своими микроскопическими родами.

Жена мне говорит: «Вот ты там доковыряешься когда-нибудь», — а я ей: «Я по-другому новости смотреть не могу», — она мне: «Брось, я тебе сказала!» — а я ей: «Как же я брошу, если нас, может, сейчас в международную торговую организацию примут». — «Перестань!» — «Не могу. Буш Путина к себе на ранчо затащил. Я нервничаю». — «Дырку просверлишь!» — «Сейчас

брошу. Они только с договором по ПРО нас бортанут, и я сейчас же уложу пупок на место». — «Занесешь туда грязь». — «Как раз наоборот: я ее выношу», — и так далее.

И тут я там нахожу какой-то шов. Маленький такой шовчик. И нитки торчат. Я потянул — больно. Меня даже бен Ладен перестал интересоваться. Говорить жене или не говорить? Решил сначала сам разобраться. Еще подумает, что я спятил. Потянул — больно. Мне же не так давно операцию делали. Но делали мне во рту.

И при чем здесь пупок? Потянул — черт!.. Я тогда под наркозом лежал и, может, мне заодно... да нет, чушь собачья. Тяну — ой!.. Тихонько: «Ната... а вот когда человек родился... у него в пупке нитки могут навсегда остаться?» — презрительное молчанье.

Глупость какая-то. Тяну — вот зараза! «А ты не знаешь какие-нибудь случаи, когда вдруг обнаруживается...» — «Что?» — «Что в пупке...» — «Еще одно слово, и я тебя укушу», — она думает, что я .. «Что там у тебя? Ну-ка, дай посмотрю», — она наклонилась к моему животу. Я только горестно вздохнул. Сейчас найдет и как дернет.

«Ничего не вижу». — «Там такой маленький». — «Где?» — «В середине». — «Нет ничего».

И вот картина: я лежа, упершись подбородком в грудь, пытаюсь рассмотреть свой пупок, и жена смотрит туда же. Потом я сел: действительно, ни шва, ни ниток, и жена туда чуть ли не носом лезет. Почудилось мне, что ли? Все нервы (жена все смотрит), нервы (смотрит).

А. Покровский

И тут мне приходит в голову мысль: а не окунуть ли мне ее головой в пупок; расположена она очень удобно, и все можно будет свести к шутке.

И я ее окунул. Что потом было! Самое безобидное, что я услышал в свой адрес, так это: «Дурак».

Ну и ладно.

А пупок я больше не ковыряю.

Острова в океане

— Боже мой, как я люблю кораллы! Как я люблю эти природные ажурные драгоценности из подводного царства! Эти сапфиры и изумруды военно-морские, — сказал бы я, если б не знал совершенно, как выглядят сапфиры и изумруды! А как я люблю добывать кораллы! То есть я люблю отпиливать, отламывать, откусывать и набивать мешок. А потом их кидают в кастрюлю и варят, чтоб убить в них всякую жизнь. Ибо! Ибо хороша и не жизнь вовсе, хороша только застывшая смерть коралла, выставленная где-нибудь в склеротическом шкафу у Главнокомандующего всеми родами, из-за чего я люблю ползать с напильником по дну в спортивном костюме, одетом исключительно ради того, чтоб не оцарапать себе жопу, в ластах и маске, — и это меня не тяготит.

— Болтун.

— Кто? Я? Вы ко мне несправедливы, етит твою мать, сэр, — говорил Серега Потапов, лейтенант Военно-морского флота, своему лучшему

другу Вовке Клемину, который вез его и с ним еще пятерых матросов на коралловые острова. Нужно было добыть эту дрянь для Главного штаба, а для этого нужно было подойти к островам.

А как к ним подойти, если на 20 миль в округе глубина только полтора метра, а ты на эсминце, ну, скажем, «Блистательный»?

Значит, надо встать где-нибудь в приличном месте на якорь и до островов отправиться на катере, набив его предварительно любителями кораллов, которые назначаются через пять минут после того, как тебе пришла в голову мысль об их добыче. Выбрать где-нибудь островок с пальмой, чтоб они там от жары совершенно не протухли, и оставить их на целый день, после чего забрать уже вместе с кораллами, не позабыть бы то место.

— Это я-то болтун? Все! Я не могу находиться с этим пустым, неинтересным человеком на одном борту! Меня сейчас стошнит от этой лжи ему прямо на тапочки. Или я брошусь в пучину, как это делали при оскорблении все нормальные люди. Орфей, например. Сейчас. Где мои ласты для выпадения в пучину? А?

— Слушай, заткнись!

— Да я бы заткнулся, если б я нашел в этом бедламе свои ласты. А что я без ласт? Без ласт я ничто. Я никто без ласт, как сказал Одиссей Поликлету или Полифему, точно не помню. А ты не помнишь?

— Нет.

— Я же без ласт утону. И без маски тоже. Они поддерживают во мне натуральную положи-

тельную плавучесть, потому что отрицательной у меня и так навалом. Старпому же не объяснишь, что я почти не умею плавать. Им бы только назначить человека откусывать эти вонючие кораллы, а как он будет их откусывать — им же совершенно наплевать. И все бы ничего, если б я мог держаться на поверхности. Я бы откусывал, клянусь эпидермой, для чего я даже взял кое-что: старые пассатижи и напильник, потому что не зубами же их откусывать, кость полосатика. Но теперь я утону. Точно. Пассатижи утянут меня на самое дно. Заголовок в газете «Бешеный кашалот»: «Лейтенанта утянули на дно пассатижи». Звучит траурная музыка, вокруг бабы в черном крепе от нетерпения перебирают ногами, еды для поминок полно. Ах, вот они, мои ласты дорогие, ласточки мои резиновые! Нашел! Их завалили тут всяким дерьмом всякие недоумки. Вот они, мои любимые! Вот они, мои хорошие! Теперь не утону.

— Серега!

— А?

— Ты заткнешься?

— Теперь да!

Резво-резво бежит катер непосредственно по самой невероятнейшей глади, казалось бы, не касаясь ее совершенно, а вокруг вкуснейшие просторы, и ты стоишь на носу, и зовут тебя Серега, и ты — лейтенант, и жизнь, кажется, только только набирает свои обороты и раскрывает тебе свои знойные объятия, и она такая замечательная — дальше просто некуда, — и все-то у тебя еще будет, и все еще впереди, а под тобой словно

сказочный ковер — это все подводные скалы, водоросли и рыбы, рыбки, рыбешки, мальки. А вода до того прозрачная, что мерещится кораблекрушение, то есть то, как катер с разгона налетает на подводную скалу, и вот уже пробоина, и он погружается, и воздух с шумом вырывается из внутренних помещений, но все это игра воображения; опущенное на волю, оно начинает так играть, просто вода очень прозрачна, поэтому все приближено и от опасности холодит.

Ах, если б можно было воспарить над всей Индонезией — и не только над ней, но и над временем заодно. Если б можно было увидеть себя, будущего, и то, как ты, неторопливо перемещаясь, собираешь эти рогатые сокровища, а рыбки — разноцветные подводные лоскутки — тычутся тебе в маску, покусывают за ласты, а ты собрал уже целый мешок этих своих драгоценностей, и у тебя впереди часов шесть до подхода катера, и можно поплавать всей командой, а потом поваляться под пальмой, пожевать консервов и почувствовать себя человеком. Ах, если бы можно было воспарить над временем и Индонезией. Ты бы тогда увидел, как к твоему островку направляются две фелюги под парусами. Это контрабандисты. Они торгуют оружием. Они с автоматами наперевес. И им совершенно не нужны посторонние, малоопытные ловцы всяческой дребедени. И ты при самом их приближении сразу же понимаешь, что к чему, быстро хватаешь все свои вещи, все барахло, бросаешь их в воду и сам лезешь туда же вместе со своими людьми, потому что прибыли лов-

цы куда более серьезных шуток, из-за которых они ни во что не ставят постороннюю жизнь.

Ты пролежишь в воде часов пять, еле-еле шевеля лапами, выставив над поверхностью жалкий кусочек своей дыхательной трубки, молясь только о том, чтоб никому из гостей не пришло в голову сходить помочиться на ствол пальмы, потому что тогда он немедленно вас обнаружит. Вот уже кто-то пошел. Вот сейчас — под ногами идущего закрипел песок — нет, показалось.

А потом, когда они отвалят, наконец, с твоего островка, ты выползешь на него. Именно выползешь, потому что за пять часов вот такого лежания получится так, что у тебя отказывают ноги и совсем не осталось сил.

А вот и наш катер, черт бы его побрал! Он появился через какой-нибудь час после фелюг. А ты сразу его почувствуешь, заметишь издали.

Он бежит быстро-быстро и скоро будет у самого берега, и снова у тебя появляются силы, едрит твою в кочерыжку! Ты вскакиваешь, начинаешь носиться по песку и орать, орать от молодости, конечно.

— Вовка! Вовка! — орешь ты и больше ничего, потому что переполняет тебя совершенно ото всякой несерьезной ерунды. А потом ты обнимаешь обалдевшего Вовку и кричишь ему, что ты его любишь.

Над Северным флотом

Иваныч помер.

Почил, так сказать, как всегда, некстати.

А до этого он руководил Военно-морским флотом с такого-то по такое-то, а потом еще где-то что-то делал в углу своего кабинета, что-то очень похожее на полезное.

Нужное что-то очень для нашей родной обороны и все прочее, потому что, когда он, следуя логике вещей, упал от старости на боевом посту с грохотом в парадной попоне, как боевой слон бивнями в пол, он успел-таки прошептать: «Прошу кремировать и пепел развеять над Северным флотом».

Ну, последняя воля командующего с такого-то по такое-то — это, конечно, не просто так заморить полторы тонны людей где-нибудь в Заокайске. Это ж надо выполнять. А потому сгребли все, что удалось, в урну и отправили все это на север.

Боевые летчики, когда им сказали, что надо рассеять, сначала ничего не поняли: то есть

как это рассеять, на какой, позвольте, скорости и высоте вы все это видите рассеянным, затормозить, что ли, прикажете или открыть дверь? «Да вы все с ума посходили», — сказали они и отдали сей предмет вертолетчикам.

Те, пока носили его туда- сюда и спрашивали, над чем зависать и рассеивать конкретно, несколько раз открывали от любопытства, чтоб посмотреть, какие у нас бывают жареные командующие и опрокидывали при этом нечаянно урну пять раз подряд, и из нее все просыпалось, но хорошо, что у нас везде стоят веники и совки, чтобы все это засунуть обратно, с тем чтоб рассеять не где-нибудь где ни попадя, а конкретно.

А действительно, где тут конкретно помещается Северный флот и что за таковой считать: море? базу? корабли?

Пока решали, что за что считать, урну все время переставляли, а потом переставили так, что и совсем не нашли в тот момент, когда нужно было схватить, побежать и рассеять. И тогда, для рассеивания, отдали какой-то чуть ли не кубок за успешную стрельбу, набив его всяческим мусором, который и рассеяли со словами: «Покойся с прахом, прах тебя побери, совершенно задолбал!» — а потом уже обнаружили натуральные останки, которые все это время за дверью стояли, и тогда их пришлось пересыпать из урны в газетку, урну поставить на место кубка, а их аккуратненько, под руководством двух мичманов, спустить в унитаз, а то неудобно как-то, и речь уже сказали.

Гвардия

Командир подводной лодки «Красногвардеец» капитан первого ранга Маслобоев Алексей Геннадьич был полным и окончательным мудаком.

Проще говоря, хамом.

И об этом его свойстве, а лучше сказать качестве, знали все. Особенно начальство.

А если и начальство в курсе, то жди, дражайший Алексей Геннадьич, в скором времени должность командира дивизии — иначе у нас не бывает.

То есть «адмирал не за горами».

Вот только в автономку надо было сходить, для чего укрепили «гвардию» нормальными людьми: дали офицеров и матросов с мозгами, а также посадили на борт вторым командиром Тибора Янушевича Шварца (стройного, грамотного, деликатного), чтоб он «гвардии капитана первого ранга» Маслобоева Алексея Геннадьича чуть чего по рукам бил, не допуская безобразия.

«Гвардия» — она ведь, как картошка, со временем вырождается, и то, что командир у них —

законченный мудак, — это такая закономерность, у которой случаются всякие там последствия.

Средиземка — Средиземное море — подводное положение. Во время отчаянно-лихого маневрирования под группой американских кораблей «гвардии (не совсем вменяемый) капитан первого ранга Маслобоев Алексей Геннадьич в отсутствие в центральном Тибора Янушевича Шварца — отлучился по малой нужде — принимает дерзкое решение разбить лодочной рубкой опускаемую гидроакустическую станцию фрегата «выполнением маневра по глубине», для чего и отдает соответствующую команду боцману, сидящему на горизонтальных рулях.

А дальше — как учили: страшный удар, визг, писк, скрежет, тряхнуло, кто-то упал, кто-то вскочил, и из отсеков посыпались доклады о поступлении воды.

Маслобоев кричит боцману:

— Ныряй на восемьдесят! — и тот ныряет.

Шварц, ворвавшийся в центральный совершенно без штанов, отталкивая Маслобоева, кричит боцману:

— Всплывай на сорок! — и тот всплывает.

А особист, тут же соткавшийся из воздуха, сует в пасть Маслобоеву индикаторную трубку на «наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе», после чего все они: Маслобоев, Шварц, особист и боцман на какой-то период представляют из себя некий плотный клубок, катающийся по центральному.

А наверху — где к этому моменту собирался совершенно потонуть американский фрегат — разгорается международный скандал!

А. Покровский

Некоторое время спустя, уже в базе, Командующий Северным флотом в отупелом одиночестве минут тридцать изумленно рассматривал бронзовый обломок винта фрегата, застрявший в «гвардейском» контейнере с ракетой, оснащенной ядерной головой.

Странно, но Маслобоева не назначили командиром дивизии.

Его отправили куда-то чего-то «укреплять» не очень жидкое.

А «гвардия» надолго сделалась полным говном.

Воздух

— Вовик, ответь немедленно: любишь ли ты воздух? Воздух! Этот дивный коктейль из азота и кислорода, сдобренный специями — углекислым газом и прочей отрицательной ерундой. Как я люблю воздух! Ах! Ты представляешь: им невозможно насытиться. Никак. Он врывается вовнутрь и проникает во все закоулки. И омывает. Да! Омывает там каждый мой завиточек родимый! Каждую пипочку, тяпочку, мавочку, таточку! Кстати, у тебя есть свои таточки? А? Не молчи, несчастный, но молви!

— Вот балаболка!

Сергея с Вовкой шли по улице. Они шли в отдел кадров флота получать назначение — два лейтенанта только что из училища.

— А что я люблю больше воздуха? Нууу?

— Ну?

— Больше воздуха я люблю женщин. Вот! Они кудрявые везде. К чему ни прикоснись. Ты прикасаешься — а они кудрявые. И сколько их, Господи! Сколько! Они всюду. Да! А знаешь ли ты,

что только что пришло ко мне в голову: мы должны жениться. Сейчас же. Эта мысль пришла ко мне, но она меня не поразила. И это странно. Это неожиданно. Любая мысль приходящая не может не поражать хотя бы способом своего появления. И даже не способом, о котором я ни шиша не знаю, но...

— Короче.

— Да, так вот: мы должны жениться. Как тебе это?

— Сейчас?

— А когда, милый, когда?! Тебя засунут на корабль, как руку в жопу слона, и не скоро вынут. А как же продолжение рода? Ты, что, не хочешь, чтоб у тебя родился сын, продолжатель династии мореходов, пароходов и человек, и чтоб его тоже засунули в жопу? Чтоб он испытал то же, что и ты, но только в большем размере? А когда ты еще сделаешь сына, как прямо не сейчас? О-о-о... я уже вижу, как ты делаешь сына, а заодно и я... о-о-о... вот она лежит на постели, а ты подходишь, свесив руки, и не только их, ты видишь ее колено. Оно светится, хотя вся она тоже ничем не прикрыта, но ты видишь только колено, хотя в глаза лезет все остальное, но это колено — оно такое нежное и податливое, и ты вступаешь на одеяло, наклоняешься и целуешь его, сначала робко, а потом все сильней и сильней — никакого удержу; ты покрываешь поцелуями все, все ее тело, и оно при каждом прикосновении наполняется негой и стоном, оно выгибается, изломав свои собственные линии вдоль, а потом и поперек, а ты уже там, у врат истомных, и ты вторгаешься в них на манер

пехотинца Александра Македонского, и тебя опалит жар — жадный, липкий, а ты торопишься, торопишься, торопишься, и вот уже реки взпруженные, степи иссохшие и ураганы — все смешалось, пытаюсь лишить тебя сознания, но в это мгновение прорвались, лопнули клетки и вылетели птички. А вот, кстати, и первая девушка, не изведавшая трахомы.

Они подошли к летнему кафе. За столиками было пусто, но в глубине сидела девушка. Серега направился прямо к ней. Она была стройная — и это главное. За три шага до нее Серега рухнул на колени, простер к ней руки и завопил:

— Дивная! Будьте его женой! — при этом он указал на Вовку, у которого от всего этого глаза на лоб полезли. Наконец он кое-как овладел собой и вступил в разговор:

— Не обращайтесь на него внимания, — пытаюсь оттащить Серегу.

Девушка окаменела. Ее широко распахнутые глаза смотрели на Серегу так, как если б ей явился колосс родосский.

Серега между тем уже освободился от друга и теперь, успев подползти ближе, стоял перед ней, но обращался к Вовке:

— Не хочешь?

— Нет!

— Он не хочет из природного благородства. Тогда обращаюсь от своего имени и сердца. Вы и только вы за пять шагов до этого воцаришь в моем опаленном сердце. Посмотрите вокруг: видите ли вы здесь людей? Нет! Здесь нет людей.

Мы одни на планете. Только вы и я. Вот почему нас тянет друг к другу. Нас влечет. Нас волочет. Будьте моей женой. Я молод, красив. Станьте моей — и вы изведаете муки моего сердца. Я вам его тут же открою. Да! Да! Да! Немедленно открою. Вот прямо возьму и... но нам надо на корабль. Нас ждут опасности, свершения и смерть подстерегает на каждом шагу. А что такое военный моряк, как не человек, приготовленный к смерти? Как не человек, сказавший ей: да! Да! Сотня чертей! Для него дорога каждая минута, для этого военного человека. И он желает жениться. Что в этом желании плохого? Что в нем постыдного или бесчестного? Нет! И еще раз — нет! Я вас никогда не обижу. Способен ли моряк обидеть ребенка? Никогда. А вы совсем еще ребенок. Я это вижу так же ясно, как все, что напротив. Но подспудно, скажите, подспудно вы ведь ожидали нечто подобное, согласитесь. Всем своим сердцем вы двигались навстречу ему — событию. И вот оно пришло. Оно настало. Наперло, заперло, заполонило. Сейчас или никогда. Оно, а не я, требует от вас ответа: да или нет? Да или нет?! Вам решать. Решайтесь. Ну?

Девушка сглотнула слюну. Глаза ее, в которых поначалу приютился страх, понемногу оттаили и теперь уже смотрели на Серегу с любопытством и озорством. Она мигом окинула взглядом весь его облик — Серега был отнюдь не урод — и призадумалась; казалось, она в уме производит некое арифметическое действие: например, перемножает 20 на 18. Но вот она закончила его, поднялась и сказала:

— Идем!

Сергеа немедленно встал.

Через двадцать минут они уже были в загсе, где Сергеа извлек на свет командировочное предписание и в три секунды развернул перед заведующей картины, достойные старины Айвазовского, — там были корабли на рейде, а также бури, валы и сломанные мачты.

Еще через десять минут они стали мужем и женой.

Не будем описывать их недолгие сборы, очумевших родителей новобрачной, отсутствие свадьбы, и то платье, в котором молодая последовала за молодым. Не будем описывать быт и смрад, Доф, мотанья, и чемоданы, и первую брачную ночь на них, и медовый месяц не будем описывать, и то, как Сергеа, кстати, вместе с Вовкой, назначенным с ним на один и тот же корабль, услали в море на целый год, и то, как она родила и при каких обстоятельствах, и то, как он пришел и она его встретила у решетки с маленьким симпатичным кульком на руках, и то, как Сергеа, идя ей навстречу, никак не мог понять, чего она там в руках держит, и то, как у него, такого говорливого, вдруг не хватило слов и голос начал ломаться, и то, как потом, уже на чужой квартире, куда их устроили друзья, ночью, он ее вдруг спросил: «А ты меня любишь?» — и она ответила: «Наверное, да!»

Как я спасал Россию

Это был розовый туман. Он стоял столбом. Я вошел в него и в ту же секунду понял, что сплю.

Я немедленно очутился на первом этаже в помещении, больше напоминавшем химическую лабораторию, чем фабрику.

Но это была фабрика.

Да, это была она, и был конец рабочего дня. Все рабочие покидали свои трудовые места, но я должен был остаться. Все одевались, выходили и в предбаннике перед выходом обращали внимание на какие-то матерчатые мешки, в которых лежало нечто, напоминающее разрозненные части крокодила: зубы, морда, хвост.

«Зачем оно здесь? — замечал каждый выходящий. — Его надо вынести».

Но мешки оставались на месте. Я знал, что никуда они не денутся, и еще я знал, что мне придется с ними повозиться.

Наконец ушли все, и наступила тишина.

Я прошел в самую дальнюю комнату и там, на полу, на подстилке из одеял, обнаружил свою собственную жену. К этому времени я уже был совершенно голый и жена была голой.

Мы занялись любовью. Мы занимались ею несколько минут. Потом я услышал звуки. Кто-то ходил.

Я понял: сейчас. Сейчас я должен *это* изгнать. Я стал гибкий, упругий, встал и пошел в соседнюю комнату.

Там была женщина в одежде работницы. «Кто вы?» — спросил я.

«Я здесь работаю», — ответила она.

«Как ваша фамилия?» — спросил еще раз я.

«Вжзу!» — ответила она, и я понял, что все неспроста.

Я повторил свой вопрос и опять в ответ получил что-то невразумительное. Для порядка я спросил еще и еще раз, и всякий раз она несла какую-то чушь, после чего я сделался как Стивен Сигал и сломал ей руку в пятнадцати местах.

Я мотал, я бил ею по стенам, но раны тут же заживали, и чувствовала она себя великолепно. Она появилась из тех мешков с разрозненными частями крокодилов. Я знал, что я это знаю, и продолжал крушить ею стены.

Кто-то бежал к нам. И этого *кто-то* было много. Я решил спастись.

Я закинул ее подальше вглубь и бросился в коридор.

Это был длинный коридор, в конце которого имелось то место, где мы с женой занимались

любовью, и я должен был попасть не в конец, а в начало.

Путь мне преградил маленький, но очень ловкий человечек.

Я схватил его поперек, а потом и вдоль.

Пока бежал, я молотил им по стенам, а со всех сторон к нему спешила подмога.

Но ей меня было не остановить. Я был силен, как слон. Я бил, я ломал, я крушил. Все, что я бил, падало и восстанавливалось вновь. Все, что я бил, бросалось на меня сизнова и получало отпор.

Я медленно продвигался вперед. На моих руках висели лохмотья, может быть, кожи и струилась кровь.

Меня оседлали сразу несколько этих тварей, я рычал и продвигался.

Я бросался на стены, я давил их, топтал. Они осаждали, они душили, они мешали.

Я тянулся. Я тянулся изо всех сил. Передо мной была последняя дверь в этом длинном коридоре, и я должен был до нее добраться.

От натуги лопнули все кости на руках. Вернее, лопнула сначала вся кожа, потом ее остатки, потом мышцы, затем кости.

С хрустом.

Но я дотянулся, открыл дверь, стряхнул с себя всех и скрылся за дверью.

За дверью была свобода. Я это понял сразу же и навсегда. Я стоял, я дышал, я наслаждался.

Но вдруг до меня дошло, что я здесь, а жена моя там!

И еще до меня дошло, что это была и не жена моя вовсе, а Россия.

— Россия! — вскричал я. — Россия!

Это ее я спасал от всякой нечисти.

И от всякой нечисти я ее не спас.

Голова моя безжизненно повисла, силы меня оставили, я проснулся в холодном поту и в постели с женой, намотанной вокруг шеи.

Ожидаю чуда

Чтоб мне треснуть, оно должно произойти!

По-другому не может случиться.

Будет обязательно, ведь я же жду.

А как можно обмануть ожидание?

Невозможно даже подумать, чтоб обмануть.

Иначе никто бы не ожидал.

А так ожидают все.

И вот что я думаю: может быть, я не так вглядываюсь в происходящее?

Может быть, оно уже лежало передо мной, кудлатое, а я не заметил, опрометчиво перешагнул, и теперь придется дожидаться очередного шага или круга, потому что оно только так до нас и доходит: по кругу шагами?

Не оставляет ощущение, что я что-то найду. Неизвестно что, но что-то огромное. Может быть, оно свалится передо мной? С грохотом. Как вы считаете? Оно свалится – я только руками разведу: мол, ничего не поделаешь, подфартило. Конечно, это я так, напускаю на себя, а сам-то я рад буду до смер-

ти, ведь мы же созданы для такой неожиданной радости и дополнительного счастья. А иначе для чего бы нас создавать? Лоб узкий, и мысли все о доме.

А желания — о тепле.

Потому что хочется его.

Чтоб пришел, сел и — разлилось по позвоночнику.

Почему-то хочется его именно для позвоночника. И чтоб сначала незаметно так, а потом чтоб затопило-захлестнуло, и только повернулся, как вспыхнула радость.

Она ведь всегда вспыхивает, как учит нас бытие рогатое, именно на поворотах, потому что поворот — он же для радости.

А бывают радости и вовсе необъяснимые. Хорошо так, что и сказать ничего не можешь.

Может быть, это от солнца. Наверное, от солнца. Конечно, от солнца. Вот взошло оно — и уже хорошо. И каждый вздох только о будущем, которое обязательно прекрасно.

Только воздух ворвался в альвеолы и принялся их заполнять, как немедленно подумалось о том, что это неплохой признак и есть надежда на то, что он заполнит их полностью.

А потом он задержится в самой верхней точке и пошел на выдох.

Но выдох я не люблю.

Раз уж дали возможность вдохнуть, то в этом что-то есть от того, что тебе дали в долг, а теперь необходимо отдавать. Жалость какая-то. То ли себя жалко, то ли жалко вообще. Так что хочется держать его там как можно дольше.

Правда, следующий вдох обещает вроде бы еще большую радость и ради этого можно, конечно, выдохнуть предыдущий.

Пожалуй, можно.

И еще, пожалуй, в этом-то и состоит, как мне кажется, некоторое преддверие в ожидании чуда, или вера в преддверие, или мы сейчас, может быть, описали сам механизм возникновения такой веры в такое преддверие.

И оно появится, разумеется, — это я опять о чуде.

Но, как уже говорилось, оно появится только на вдохе и только после необъяснимой радости.

Депрессия?

Какая, на хер, депрессия?! И это ты так лежишь, потому что депрессия?

Да ты с ума сошел! Какая на асфальте может быть депрессия?

Я на катер бежал. Это был последний катер. Он уходил в двенадцать ночи. Меня отпустили со службы так, чтоб я не успел, а я добрался.

Восемь километров бегом, на повороте сел в автобус, сорок минут на нем езды и, как из него вылез, до бухты еще два километра.

А катер — вот он. А перед ним идет погрузка ракет. Дорогу перекрыли. Я подбегаю, весь мокрый, а меня не пускают, и катер уходит на моих глазах.

Вот это был удар! У меня тогда просто руки повисли, сил никаких, все отдал этому броску.

Я потом постоял-постоял и пошел назад, а поземка, в лицо летит ледяная крошка, сечет его в кровь, автобусов нет, попуток нет, ночь, свет только от снега и тридцать километров до поворота, в

гору пешком, с горы бегом, чтоб пот, который по спине струится, не остыл, а ты говоришь — депрессия.

Какая, на хер, депрессия?!

Швартовщиков смыло — никто даже не остановился, никто никого не искал, потому что вода минус два градуса — жидкий лед. Плюхнулся в нее — остановка сердца и плавай потом оранжевым поплавком.

Трос выбирать, а он на морозе с ветром к рукам липнет, потому что рукавицы дырявые.

От лома спина дрожит и ноги. В тепло попал — уснул на подоконнике.

Мы света белого не видели. У нас идешь по кораблю и думаешь: «Ну вот, ничего не случилось, пока ничего не случилось, хорошо, что ничего не случилось!»

А когда случилось?

Иногда так случается, что если сразу начинаешь говорить, заикаешься. И тогда выдохнуть надо, сказать себе пятнадцать раз скороговоркой: «Все будет хорошо!» — и потом уже можно разговаривать.

А паника? Самое страшное, что можно придумать. Люди на людей не похожи. Навстречу бегут, и ты принимаешь их на себя. Ты их должен остановить, задержать, иначе всем труба.

А они такие сильные, просто беда, они кремальеру в руку толщиной ломают, как спичку, они на бегу кучей зарываются в ящики лицом, прячутся, забиваются в щели, они лбом раздвигают трубопроводы, мнут на лице все кости, срывают руками клапаны.

А ты схватил лом с аварийного щита и на них с ломом.

А они ударов не чувствуют, понимаешь ты это, не чувствуют?

И тогда приходится орать, так орать, что не знаешь, откуда у тебя только голос появляется.

А ты говоришь – депрессия.

Какая на асфальте может быть депрессия?

«Герман» и судьба

Это случилось после последнего путча. В 94-м году, а может, и в 95-м. Для конспирации все путают даты. В стране наблюдался разгар перестройки, в стране все украли и поделили.

И в первую очередь рефрижераторный флот.

А все потому, что перевозимый груз почти всегда стоит намного больше того, что стоит корабль и его команда, так что выгодное это дело.

Герман Матерн был немецким антифашистом и значился на обоих, имеется в виду, бортах. Его портрет почти всегда висел вертикально в красном уголке, а после того, как с корабля за ненадобностью, как мебель, убрали помполита, для сокращения времени его стали называть просто фашистом.

Там же висела его краткая, как у коня, родословная, а капитана мы назовем Вышетрахен, а настоящую его фамилию мы скроем по причине того, что вдруг всем станет неудобно.

По той же причине никак не вспомнить название китайского порта, из которого вышли утром.

Уже спало напряжение шатания по акватории, уже отстояли две вахты, и впереди уже свободная вода и можно вроде бы расслабиться, хотя воды все еще китайские и судно входит в заряд тумана.

Не успели войти — тра-а-а-ах! — и столб искр до неба: переехали китайца. Судно китайское. Как он в тумане оказался и что он там делал — неизвестно, но только все тридцать китайцев, его команда, уже стояли вдоль борта, и все они были в спасательных жилетах и на ломаном русском орали: «Русские! Спасите наши души!»

От удара наш великий «Герман» разрубил китайца пополам, и тот тут же утонул. Наш без груза тянет на десять тысяч тонн, а с грузом — все восемнадцать, судно ледового класса.

Так что — пополам в одно мгновение, и китайцы уже плавают. Отработали назад — двух китайцев под винты и в дивные ключья, остальных втянули на борт и в красном уголке сложили.

По радиации связались со своими: «Что делать?»

Им в ответ: «Рвите когти из террвод!»

И начали рвать когти. Полного хода узлов шестнадцать, нос в небо, ноги на плечи и, как вдули, на запросы не отвечаем.

Радист закрылся намертво в рубке, а там броня со всех сторон; капитан на мостике, а боцман на баке дырку на носу сторожит, поскольку дырку-то себе тоже сделали.

И показался китайский сторожевик. Как он узнал о столкновении?

— Китайцы специально подставились! Суки! Они ж все в жилетах! И еще: пока от удара по переборкам летали, как они этого урода по рации успели вызвать? Значит, все заранее? По плану? Суки поганые! — орали на мостике.

А урод догонял и приказывал остановиться. А ему показывали хер, вспоминали его маму и уходили на всех парах.

А тут спасенные китайцы организовались и пошли на мостик с серьезными рожами: «Везите нас в Китай».

Плотник заточил четыре напильника, помощник запасся дубиной, а электрик — он вояка бывший, старый дед, но очень суровый на вкус, он Точилину через контракт за какую-то мелочь в рог кувалдой заехал — взял свою кувалду и через три секунды убедил всех китайцев в том, что он иногда потрошеными китайцами всякую ненормальную отраву закусывает.

Заперли их в столовой, и они там немедленно «Интернационал» запели, после чего сторожевик открыл огонь.

Накрыло со второго залпа и сразу же сделало дополнительную дырку с того борта, где боцман караулил первую.

До нейтральных вод было чуть-чуть, когда капитан вызвал южнокорейский сторожевик на подмогу. Корейцы китайцев любят, как гуси сковородку, так что откликнулись сразу.

Кореец подошел, встал между нами, а потом по китайцу пару раз треснул изо всех орудий, и тот отвязался.

Притащились в Корею, китайцев покидали в автобус и увезли, а сами заварили дырки, перекрасились, и «Герман Матерн» с того борта, что с пирса виден, написали латинскими буквами и стал он тем же «Германом» только на латыни.

Капитан для надежности даже портрет Матерна у себя в каюте под кроватью спрятал.

Потом сходили в одну корейскую контору и там за сто баксов продали корабль Кипру, после чего подняли кипрский флаг и ушли через Панаму в Европу.

А китайцы пытались арестовать другой корабль нашей компании, который в это время у них ремонтировался.

А им сказали: ни хрена не знаем, у нас такого корабля, как «Герман Матерн», не числится. Есть, правда, какой-то «Херман», не без того, но он латинскими буквами и принадлежит киприотам.

На том и разошлись.

А недавно видели «Германа», поскольку его потом продавали незнамо сколько раз: англичанам и не англичанам.

И ходит он теперь под китайским флагом, что самое удивительное.

Природа

Бывают минуты когда я люблю природу. То есть периодически что-то включается в районе хребта, и я иду на скалу есть. У нас же на камбузе только отравиться можно. А тут природа, курлык твою мать, ветер, солнце, облака, лето.

Мы с Серегой очень это все вокруг, между прочим, ценим.

И что мы тащим на скалу? Мы тащим кефир в пачке, помидоры, огурцы и треску холодного копчения — она без головы, в шкуре, соленья и веревкой обмотана.

Садимся среди всей этой свежести и аккуратно выедаем треску изнутри, запивая кефиром с овощами, после чего кладем позвоночник трески назад в шкуру и веревкой снова перематываем, потому что природа, долбать и долбать, к подобной тщательности и цельному взгляду на жизнь очень нас располагает.

А однажды вот что было: только мы выели треску, сложили ее хребет в шкуру и перевязали

ли, а потом отнесли подальше на скалу, вернулись в начальную точку для достойного переваривания, как появились бакланы.

Самый большой баклан спикировал на шкуру трески, которая все еще имела форму рыбы, сел рядом и от счастья залился диким хохотом. Мы с Серегой хотели сказать ему: «Кыш!» — но тут он запрокинул голову на спину и давай орать, что, мол, я тут нашел и это все мое.

— Подавится, — сказал Серега, — там же один хребет колючий внутри.

Баклан кончил орать, подбросил полуметровую шкуру с хребтом вверх и... и тут открылась такая его пасть, в которую легко проваливается птичка тупик.

В один миг он проглотил все и еще неуловимым движением отправил туда же веревку, которая от подбрасывания растрепалась.

— Ах ты, сволочь! — воскликнул Серега и вдруг бросился к баклану.

Для баклана это было полнейшей неожиданностью, да и для меня тоже. Серега потом не смог мне объяснить, зачем он побежал к баклану. А тот от проглоченного так отяжелел, что еле успел от Серегу увернуться, после чего он в воздухе заложил крутой вираж, набрал высоту и... так серанул, причем очень прицельно, — я же за всем этим наблюдал. Дерьма было столько, и оно как шлестануло по скале — что твоя автоматная очередь.

И под этот обстрел попал Серега, который к тому моменту уже свою ошибку осознал и побежал ко мне.

А. Покровский

А я побежал от него из-за того, что его преследовал баклан, непрерывно и очень метко срущий.

Мне показалось, что мы пробыли под обстрелом полчаса, хотя все закончилось через пять секунд. Мне тоже досталось. Но Серегу — как шрапнелью прошило.

И пошли мы белье менять. Через весь поселок.

Нас видели все, и старпому доложили, конечно.

На что он нам заметил (никакого сочувствия): «Правильно он на вас насрал. При-ро-да! Каждый должен на своем месте жрать».

Сумасшедший

— Не дают... тащ... капитан-лейтенант!

— Чего не дают?

— Огнестойкой резины на двухходовые клапана.

— Как это?

— Так. Нету у них.

— Да вы чего? Как это нету? Нам же в море идти! Да вы никогда ничего не можете достать! Все должен делать я сам! Где заявка? Дай сюда.

Отобрав у своего мичмана заявку на резину, я отправился на это долбаное ПРЗ — плавремзавод.

«Суки, — размышлял я по пути, — падлы, гандоны тифозные, пидеры гнойные, скоты, нет у них огнеупорной резины. Сейчас! Сейчас я им найду резину. Сейчас я им матку выверну и заставлю съесть. Нам в море идти, а им по херу туман. Ну?! — ветерком по трапу. — Где это гнездо оппортунизма?! А?! Сейчас мы их заставим яйца тучного страуса нанду в скорлупе целиком глотать. Они у меня... рванул я

дверь начальника и увидел... капитана первого ранга.

Тот смотрел исподлобья, как горза на завтрак. Его руки меня поразили: огромные, толстые, а ладони как сковороды, и пальцы-сосиски.

— Товарищ капитан первого ранга, — сказал я решительно и быстро, потом я скороговоркой представился — нормальный человек все равно не запомнит. — Если вы думаете, что я насчет огнеупорной резины, так это вы напрасно. Пес с ней. Что, мы в море не ходили на лысых клапанах? Но мне сказали про ваши руки, да я и сам теперь вижу, что они то, что надо. У меня к вам предложение: давайте руками жаться. Кто кого положит за полчаса, того и резина будет.

Теперь он смотрел на меня с испугом. Еще бы! По его разумению, перед ним стоял полный болван, от которого чего хочешь можно было ожидать. Вот возьмет сейчас и откусит нос. Ты останешься навсегда одинокий со своим уродством, а его даже на гауптвахту не посадят.

— Ну тебя на хер, — сказал он наконец сипло, — еще, не дай Бог, позвоночник выдернешь. Иди в цех. Дадут тебе резину.

— На, — сказал я своему мичману после возвращения, бросая ему на колени полный мешок, — работать абсолютно не умеете.

Три рубля семьдесят пять копеек

Именно столько и стоил билет на «Комете» до нашей базы. Я заплатил в Мурманске, сел в теплоход и уснул, хотя, конечно, на ней так трясет от скорости передвижения, что вряд ли хорошенько выспишься, но, пока она скорость набирает, идет она очень медленно и в это время можно вздремнуть.

И я вздремнул.

Открываю глаза — Полярный.

— Высаживайтесь, — говорят, — приехали.

— То есть как это «приехали»?! Нам еще чапать и чапать!

— Дальше не пойдем. Сломались.

И тут я начинаю соображать, что, действительно, шли очень медленно. А до моей базы ой-ой-ой сколько километров пешком!

И пришел я часов через шесть, совершенно от злобы седой. Пришел, сел и написал им

письмо в Мурманское пароходство, что, мол, безобразно, довели только до Полярного и никто не извинился, не сообщил причину опоздания и не вернул мне деньги. По условиям контракта. Ведь у нас с вами контракт на перевозку меня до базы, о чем свидетельствует билет на три рубля семьдесят пять копеек.

И они мне ответили за подписью начальника пароходства товарища Неглинного М.Ф., что совершенно правильно высказано критическое замечание, на которое замечаем, **что замедление** хода теплохода «Комета» произошло из-за обрастания морскими водорослями крыльев, и на этом простом основании она не смогла развить проектной скорости и **вовремя прибыть в пункт** назначения, а деньги за билет **вам выдадут в Мурманске** на пирсе № 15 по предъявлении вышеуказанного билета и паспорта.

И я им ответил, что совершенно удовлетворен предлагаемым объяснением причин замедления хода теплохода «Комета», произошедшего из-за несвоевременного обрастания крыльев вышеуказанными водорослями, и рад тому, что дело завершилось столь мирным образом, а еще сообщая, что в результате убытия моего в длительную командировку, о чем прилагается обстоятельная справка, я не смогу получить деньги за билет и прошу это сделать начальника Мурманского пароходства товарища Неглинного М.Ф., то есть получить за меня три рубля (прописью) семьдесят пять копеек (цифрами) на пирсе № 15, для чего пересылаю доверенность на его имя, заверенную по

установленной форме подписью должностного лица и печатью, и прошу его же передать эти деньги в существующий на подобные добровольные пожертвования «Фонд мира», а мне достаточно будет прислать квитанцию о том, что эти деньги туда посланы, о чем заранее благодарю всех членов пароходства от лица фонда.

Я старпому доверенность подсунул, и он ее заверил, не читая.

И мне ответили: «Хватит издеваться!» — и прислали по почте квитанцию.

А я потом старпому показал свою переписку и копию доверенности, которую он подмахнул, не глядя.

Вот он смеялся!

Кровь и Валера

Валера — командир пятого отсека. Наглый, нахальный, любопытный.

Он недавно на командира соседей наткнулся, наступил на него и чуть было не уронил, отстранился, наклонился к его нагрудной бирке — командир у соседей очень мелкий — прочитал вслух: «Ко-ман-дир!» — и потом только сказал: «Из-ви-ни-те!»

Если у него в отсеке что-либо происходит, Валера тут как тут: во все вмешивается — лезет, лезет, лезет.

Как-то наш доктор в море задумал аппендицит морячку резать — так Валера сейчас же оделся во все белое и к нему в амбулаторию:

— Музики! Я к вам на помось иду!..

Валера ростом с башню: один метр девяносто семь сантиметров — ерунды до двух метров не хватает, — и у него небольшой дефект дикции.

— Музики!..

А доктор все у себя помыл и продезинфицировал — лампу два часа держал, — разложил, закрепил, приготовил и начал операцию (вниз проходим, сразу справа, если нет, то за печенью посмотреть), и теперь от напряжения только мелко подрагивает, словно среднеазиатская саранча перед перелетом, а мичман-санитар — рядом, в полной готовности подать ему, что попросит, — смотрит в глаза, как боевая собака.

— Слыште, музыки! А музыки! Слыште!..

И тут доктор — под руку ведь — задевает сосудик, и тот под давлением начинает фонтанировать кровью во все стороны, неуловимый. Все сейчас же костенеет.

А Валера, как только увидел кровь, так и потерял сознание — пошатнулся и сначала медленно, а потом все быстрее повалился вбок. О стену головой — бряк! — и сполз на пол.

Мичман чисто рефлекторно дернулся в его сторону, а доктор ему как заорет:

— Стоять!!! Стоять!!! Не трогать! Сам! Сам, сука, уползет!

И — о, чудо! — Валера пришел в себя и выполз.

Сам, сука.

Мерзость и циркуль

У морозовцев командир — дрянь. Его так и зовут: Наша Мерзость. Он любит расположиться в проходе и ноги на что-нибудь положить так, чтоб проход перегородить, а ты, если пробираешься, то должен у него спросить разрешения, а он не торопится, любит потомить, а то и вопрос тебе какой-нибудь задаст: из устава спросит.

А в специальности — жуткий дурак. Сколько из-за него горели: что-то включит, да не то, а потом сам же объявит тревогу и огнегаситель даст на неподготовленных людей.

А штурмана своего он постоянно в жолу колет. Циркулем.

Как штурман в штурманской своей над картой стоит — конечно, раком. Вот он подберется к нему сзади и уколёт.

А тут их штурман заболел, и меня к ним прикомандировали на задачи в море идти.

Что такое задачи для штурмана? Это кошмар: ни сна, ни жизни.

И вот стою я после всплытия над картой раком, и тут вдруг сзади боль раздирает — до пищевода пронзает.

И я, чисто машинально зверею, хватаю еще один циркуль, разворачиваюсь — а там он, ухмыляющаяся рожа, — и я ему в бедро как всадил, вытащил и еще, и еще раз.

Он обалдел, кровища — а меня не остановить. Я кричу ему: «Прекратите! Прекратите!» — а сам все втыкаю в него циркуль и втыкаю.

Наконец он от меня побежал, да в дверь никак не попадает; попал — никак по трапу не спустится, а я за ним, догоняю и колю, догоняю и колю.

Он через переборку нырнул, дверь задрал и на болт закрыл, чтоб я не ворвался.

А я перед дверью стою, циркуль сжимаю, а сам ему говорю: «Товарищ командир, откройте, я хочу извиниться перед вами за свою несдержанность».

А он мне через дверь говорит: «Фигушки!»

И правильно. Вот только бы открыл, я б ему — и в глаз! И в глаз!

Икра

Мы с Вовкой Кочетовым при погрузке продуктов ящик красной икры свистнули.

Не с тем, конечно, Кочетовым, который мог в гальюне насрать от двери и до окна, а с другим, который был на нашем корабле военным медиком, и еще однажды он на лошади сдуру по поселку ездил: шел он росистым утром на службу, вдруг видит лошадь, он на нее, а она понесла — в общем, до обеда скакал, за что имеет взыскание от командира базы.

А тут погрузка — продукты идут струей, а в боковую струечку попался ящик. Открыли — икра.

А ее уже спохватились, ищут.

Конечно, можно было сознаться: мол, совесть замучила и прочая ерунда, но тут нас «жаба задавила» — жадность замучила.

Тем более что интендант — жулик, и мы так решили: пусть ему сделают больно.

И потом он так рьяно ее искал — слюни до колена, что даже неприлично выглядел со стороны.

Ничего, решили мы, пусть хоть раз порадает за дело.

А старпом уже розги для него приготовил, и мы этот свист с удовольствием икрой заедали, потому что приняли решение съесть ее до последнего зернышка.

Вовка меня каждый день уговаривал: «Ну, Васенька, ну еще капельку!» — а я ему говорил: «Уже не могу! Не лезет!» — но жрал.

А потом мы в ночи пустую банку мяли и сами в мусор зарывали — в этом деле никому нельзя доверять.

А интенданту выговор впаяли, что мы с Вовкой, который, пока ест, вечно всю рожу в икре вымажет, единогласно одобрили.

А икра, такая зараза, к гортани прилипает так, что ее только бургундским и можно смыть.

Но тут мы оказались жутко предусмотрительными и бургундского тоже наворовали.

Рукопожатие гиганта

Я его немедленно узнал. Вместе служили, но тогда он вроде ростом меньше был, что ли.

А тут — гора, метра два в высоту и столько же поперек.

Он мне сразу:

— Узнал?

— Узнал, — говорю.

И он мне руку пожал — я как в тиски попал.

— Слушай, — говорит он, отпуская мою руку, — у меня к тебе дело. Мне тут все твердят: «Геннадий Петрович, а чего вы рассказов не пишете? Мы же, как соберемся где, так вы здорово рассказываете, всякие случаи. Вот бы вам записать». Вот и я думаю: пора. Кратко о себе: служил. Потом в диверсанты поменялся. Там пять лет отлопатил и получил все, что положено, вплоть до простатита. Ушел на командную должность. Потом — академия. Далее — перестройка, и всех на хер. Пошел в демократы. Думал, там люди, оказалось — дерьмо. Покрутился среди нынешнего во-

рья — не мое. Не могу на развес родиной торговать. Какой из меня чиновник. Я их, как вижу — рука сама пистолет ищет. Человек я решительный, могу и на месте кончить. Ушел. Сперва в бизнес. Нефть. Перестреляли всех. Думаю: хватит. Каждый день похороны. Ушел в народное образование. Оказалось, тут полно наших. Военные кафедры — это все мое. Я учить люблю. Получается. И результаты неплохие. Видишь, как оно растет, и в этом частичка твоего труда имеется. Теперь о главном: насчет письма. Я напишу, конечно, но это все не то. Когда рассказываю — смешно. Замолчал — все захопнулись. Записать можно, только будет ли так же весело на бумаге? Как считаешь?

Я сказал, что будет.

На том и расстались.

Я по инерции еще два круга по площади сделал.

Новая жизнь

— Завтра начинаю новую жизнь! — это Саня Петров на проводах в его честь. На пенсию он уходит. Его за столом хвалили, хвалили посреди недопитых бутылок, а потом он встал и сказал:

— Завтра начинаю новую жизнь!

После этого он пропал. Начисто.

В смысле на службу на следующий день не вышел. А наша контора, конечно, флот злопахучий напоминает слабо, но себя надо тоже блюсти.

— Где он? — спрашивает начальник.

— По дороге в новую жизнь, — отвечали мы, а сами думаем: надо бы позвонить.

Позвонили — тишина.

И вот приползает через сутки. Что-то жуткое на ощупь. Нос, брови, губы — все плоское, как у Мцыри после барса.

— Ой, мама! — говорит. — Я же начал новую жизнь, здоровый образ хотел организовать и все такое. Даже велосипед купил. Решил на этом велосипеде на службу приезжать. Сел и поехал.

Но на мосту уже начал замечать, что все на меня косятся, а у некоторых, у самосвала, например, и вовсе в лице конечный ужас. Когда съезжал с моста, понял: этот самосвал не сможет себя сдерживать. Только подумал — его как потащило, и он меня к бордюру жмет и жмет. Задел он меня на самом повороте. Как жопнул в попку! От велосипеда ничего не осталось, а я рожей весь асфальт на себя собрал.

— Ну как же от велосипеда ничего не осталось? А колеса? Руль? — спрашивали мы.

— Ничего! — тарацился Саня от пережитого. — Ничего! Одна пыль, а в руках какая-то посторонняя ручка от зонтика!

— Ой, бля! — завыл Саня, а потом он к начальству отправился.

— Ты кто? — не узнало его начальство.

— Я — новая жизнь! — был ему ответ.

Про Толю

Нет никаких оснований для подозрений относительно того, что старпом Толя не является скотиной.

Старпом Толя – скотина, скотина и еще раз скотина, что само по себе немаловажно и что видно по лицу.

Лицо у него толстенное, я бы даже сказал, жирненькое.

Глаза маленькие, заплывшие салом.

Сам он кругленький.

При заступлении дежурным по дивизии он забил на службу большой болт, то есть залупил на нее все, что имел, то есть сказался больным, и его родного командира выдернули на это заступление прямо из дома.

А Толя отправился лечиться.

К знакомым.

Налечившись вдоволь, он забодал милицейский газик.

Стоял на дороге газик, а Толя перемещался по дороге в направлении этого газика, как африканская гадюка, — жгучим зигзагом.

Поэтому при встрече он его забодал.

А оттуда выскочили орлы и спросили документы, на что Толя принялся говорить, что он старпом и, в общем-то, член поникший рыжего Дантеса, эспаньела его мать, едрена вошь, и еще он стал говорить, что все другие — не старпомы — у него, как слюни собачьи под ногами, растереть некогда. Закончил он «Поваренной книгой анархиста» и «Остром сокровищ», упомянув из чисто эстетических соображений о способе изготовления, размещения и, применения взрывчатки как таковой.

При слове «взрывчатка» милиция подобрела: «Пожалуйста, подробнее, товарищ капитан», и тут «товарищ капитан», совершенно разгулявшись, ляпнул, что дом номер девяносто шесть (кстати) недавно заминирован.

«Спасибо за информацию, — сказали милиционеры. — Поехали». — «К...куда?» — сказал Толя, и это было воспринято как сопротивление — в тот же миг он был свернут, как белье.

В отделении Толю пытали недолго, на место отправился наряд милиции, который и обнаружил в подъезде коробку из-под торта.

Она там за дверью стояла.

Большая такая коробочка.

Которая «тикала».

Из поселка Кувшинка и из города Мурманска срочно выписали саперов, и саперы с помощью приборов в сей секунд установили, что в коробке бомба.

Собака решительно не хотела нюхать всю эту х... ерундовину и тянула в сторону, и тогда в

А. Покровский

дело пустили умного робота из города Мурманска, который все в ней активизировал, после чего коробку взорвали.

В результате робот оказался изгажен, поскольку в коробке до самых краев оказалось Толино дерьмо, а в нем уже был аккуратно утоплен Толин же будильник.

— Это он так болеет, скотина! — воскликнул начальник штаба насчет Толи и коробки.— А скотина, — тут он просветлел лицом, — должна все время стоять на вахте.

С тех пор Толю часто можно видеть с кортиком на боку.

Охота на лис

Кулькин, сволочь, пригласил меня на охоту на лис. Я ему подарил списанные белые потники, а он из них маскхалаты сшил и: «Давай, — говорит, — на охоту сходим, обновим их».

Я ему говорю, что никогда не охотился ни на что, кроме как в детстве на соседскую морковь, а он мне — редкий, мол, случай, да и луна, красиво.

Я и согласился. До свалки нас довезли, потому что сами перемещаться мы бы не смогли — столько мы на себя напялили: водолазные свитеры две штуки со штанами, ватник с другими штанами и эти маскхалаты.

Ружье мне Кулькин свое запасное дал, и вот залегли мы на этой свалке, куда лисы частенько заходят на крыс поохотиться и вообще поесть.

Луна, можно сказать, шпарит во все лопатки, светло, как днем, мы лежим — и ни одной лисы на километр в окружности.

Кулькин от скуки начал крыс стрелять. Те, как высунутся из норки и побегут, так Кулькин и щелк — готово!

Щелкал он, щелкал и вдруг убивает, видимо, самую главную крысу или, может, принца наследного.

Тот, пока с мусорной насыпи катился, очень сильно верещал. И вот случилось чудо: на этот писк вылезло миллион крыс.

Кулькин, как только их увидел, так с небывалой прытью вскочил, ружье за спину и как побежал — крысы, этакой Ниагарой, за ним, а я, все это наблюдавший, как мне казалось, со стороны, вдруг через какое-то время ощутил, что бегу рядом с Кулькиным и даже, может, на полкорпуса впереди. До этого мы с трудом во всем своем одеянье даже рукой шевелили, а тут оно нам абсолютно не мешало, и еще Кулькин на бегу успевал вверх вспрыгнуть, как сайгак, чтоб сориентироваться, где мы, а где крысы.

С километр так бежали, потом крысы отстали. А тут мы еще одного мужика догнали — он, наверное, с отпуска с чемоданом грустно среди ночи плелся. Так он, нас как увидел, так молча перед нами побежал, и чемодан ему совершенно не мешал.

Я потом Кулькину говорю: «Сволочь!» — а он мне: «Зато, знаешь, как мы выглядели бегом и в лунном свете? Как два белых медведя. И мужичка совершенно взбудрили, а то б он до утра до дому бы шел. А так — в шесть секунд доскакал».

Скотина

Меня все считают полной скотиной. Я имею в виду свое начальство. Но если нужно в Персидский залив боевое траление идти обеспечивать, так: «Владимир Иванович, будьте так любезны, возглавьте оперативную ремонтную группу, без вас — никак».

Это значит, я всех своих сварщиков, обеспечивающих подводные лодки, срочно должен переучить на ремонт надводных кораблей и переместиться в Персидский залив на плавбазе, переоборудованной под ремзавод.

А по дороге я должен еще и на складе в Йемене запчастей набрать.

А на этой базе под вентилятором в американской кепке «Navy» сидит каплей с ТОФа, поскольку это их база и к Северному флоту она никакого отношения не имеет, а у меня к ним только заявка есть, на которую ему насрать, — так он мне и сказал, прежде чем на сегодня уснуть в поту.

Когда я от него вышел, то увидел, как мой механик обнимает дизель: там посреди двора ди-

зель в деревянной коробке стоял, и на нем адрес написан, и адресатом был мой механик. «Мой! Мой дизель!» — орал механик, но нам бы его все равно не дали.

Мы потом местного мичмана нашли и налили ему ведро, после чего он нам сказал, что его урод начальник приходит в девять, а если мы придем в шесть утра, то он нам заднюю дверь откроет, и мы все возьмем.

Так мы и сделали: притащились в шесть и до девяти все со склада дружественного ТОФа сперли.

А механик не хотел без дизеля уходить — и мы опять к мичману, на что он говорит, что к дизелю все привыкли: он посреди двора стоит, и сразу заметят пропажу, но потом решили коробку приподнять, дизель свистнуть, а ее на место поставить. Так и сделали.

Только в море потом выяснили, что все хорошо, но украли тонну электродов постоянного тока, а нам нужен переменный. Но тут к нам подошел один орел и говорит: «Пропадаю. У меня тонна электродов на переменный ток, а мне нужны на постоянный», — после чего мы с ним обнялись. Он к нашему борту подошел, трап бросили, и целый день у меня матросики туда-сюда электроды таскали: туда на постоянный, а оттуда — на переменный. А старпом нашей шаланды, по кличке «Смеющаяся лошадь», у меня спрашивал: чего это мои люди делают? На что я ему отвечал, что они у меня повинились, и я под палящим солнцем их заставляю взад-вперед электроды таскать.

«Ну ты и зверье!» — сказал мне он с уважением, а потом я утром просыпаюсь оттого, что он своим мичманам разнос устроил и заставил их целый день с кормы в нос и обратно пустые бочки в наказание таскать.

Сколько потом всего было — не передать. Там же американцы как раз воевали.

Нас облетали, обстреливали и провоцировали всячески, а мы знай под огнем свое дело делали.

Каждый день думал: вот сейчас нас тут кокнут — и никто ничего не узнает.

До того накал страстей был, что только он один за натуральную жизнь и считался.

Поэтому я и уволился сразу же, как только назад на Северный флот попал. Опять меня все стали считать полной скотиной, а я это больше уже выносить никак не мог.

Покурить

Не про все у нас говорят.

Своим, во всяком случае.

Существуют какие-то очевидные вещи, о которых и говорить-то не стоит, потому что и так все ясно.

Вот, например, о волне. Ну зачем говорить своим о том, что в море бывают волны и что тогда вода то поднимается, то опускается?

Наверное, незачем говорить.

Хотя... лейтенантам с ПРЗ...

ПРЗ – это плавремзавод, и там случаются лейтенанты.

И в море они могут пойти на подводной лодке, чтобы чего-то там такое на ходу ей исправить и подмандить.

И, утомившись исправлять и подман...дять..., они запросто могут попроситься покурить сразу же, как только лодка начнет всплывать.

А лодка как всплывает? Сначала продуваются концевые группы ЦГБ и на поверхности

начинает торчать рубка, а потом медленно и аккуратно дуется средняя группа, после чего обнажается часть корпуса.

Как только рубка оказалась на поверхности, лейтенант с ПРЗ запросился у центрального наверх покурить.

— Покурить? — пожал плечами центральный. — Ну, иди покурить!

Вахтенный офицер на мостике, когда лейтенант появился из верхнего люка и спросил разрешения, тоже пожал плечами — мол, конечно.

И отправился лейтенант курить.

Вахтенный офицер думал, что он тут же рядом с люком и покурит, и поэтому особого значения всей этой экзотической процедуре с «прошу разрешения» не придавал, а лейтенант решил, что курят в надводном положении значительно ниже шахты верхнего рубочного люка, и спустился по трапику чуть ли не к самой воде.

Тут наступило время напомнить постороннему, сухопутному читателю о том, что в море бывает волна и эта волна как накатит...

А лейтенант уже сунул в рот сигарету и чиркнул спичкой, и вот внезапно к нему как подобралось со стороны штанов с жутким шумом — все равно ведь темень, полярная ночь и ни черта не видать.

А вода была ровно два градуса жары.

Она ему в одно морганье до шеи дошла, после чего лениво пошла на убыль.

Он минут пятнадцать потом старался выговорить слово «ебтать!».

Невозможная красота

Я никогда не ходил на рыбалку. Тем более зимой и на Севере. А тут меня нелегкая понесла. С Михалычем – он у нас обветренный во всех местах рыбак – и с Лехой

Леха всю дорогу приставал к Михалычу:

— А россомаха здесь есть?

— Да нет тут россомах.

— А я слышал, что есть.

— Ну да, где-то, может, и бродят, а здесь-то чего.

— Я слышал, у нее когти.

— У нее и зубы – кости мерзлого мамонта, как пирожок, разгрызает.

— Да ну?

— Вот тебе и ну. А банку сгущенки или тушенки на свалке найдет — берет в лапы и одним рывком пополам.

— И чего?

— Жрет потом.

— И не поранится?

— Об чего?

— О края банки.

— Она ж не дура. А еще бежать начнет за оленем — сутками бежит, пока он не сдохнет. И мясо у нее не варится.

— А зачем его варить?

— Да незачем, потому что все равно не варится.

— А на человека нападает?

— Нет, не нападает. Разве что раненного найдет или обессиленного. Тогда обязательно нападет. Лютое зверье, должен вам доложить...

Вот так мы и шли часа три. Леха Михалыча насчет росомахи пытал, а я воздухом дышал. Через нос, аккуратненько.

А воздух-то какой, Господи! И солнце — во все лопатки. От снега глаза слепит, но мы черные очки надели.

Пришли и сели каждый на своем озерце. Тут через пригорок — озерцо. Михалыч нам лунок накрутил, показал, что и как в них окунать, мы лыжи воткнули и сели. Солнышко припекает — красота. И клевать стало — только успевай выдергивать. У меня через полчаса приличная кучка рыбки рядом выросла.

И тут появилась эта ворона: «Кар-ррр!» — я ей: «Кыш!» — а она напротив меня села, и, как я рыбку выдерну, она ее приветствует: «Кар-рр!» — будто считает мою рыбу, проклятая. Я ей: «Брысь! Кому говорю», — а она все ближе подбирается.

Тут я не удержался, вскочил — и на нее. И только я на два метра от своей рыбы отошел, как

А. Покровский

из-за бугра молча вылетела целая стая ворон и на бреющем похватила всю мою рыбу. А я ничего лучше не придумал, как за ними с криками побежать.

Перемахиваю к Лехе через пригорок, бегу и ору чего-то.

А Леха, как меня увидел, так побросал все и впереди меня побежал к Михалычу. Бежит и на бегу орет, как беременный кашалот.

Михалыч, как узрел нас, так и сорвался — в момент километр по бездорожью пропахали. Потом остановились — еле дышим.

— Чего бежим? — спрашивает Михалыч.

— А вот ... — говорит Леха и на меня кивает.

Я про ворон и рассказал.

— Тьфу, блядь! — говорит Михалыч, — Я думал, росомаха! Вот старый дурак!

И пошли мы назад. Лыжи наши на месте стоят и рыбу не всю вороны растащили. Михалыч на обратном пути молчал, Леха пыхтел, а я — воздухом наслаждался.

А уж солнце-то как жарило — просто невозможная красота...

Непредсказуемый

Утреннее выражение комдива Димы «дать в клюв» послужит нам тезой. Все же последующее повествование некоторое время можно будет считать антитезой — или я чего-то путаю?

Комдив Дима Колокольчиков – в обиходе Колокольчик или просто Пони (один метр с небольшим от поверхности суши), маленький и толстенький, — был профессиональным боксером.

Многие поплатились за легкое и даже пренебрежительное отношение к этому существу с глазами кобры и руками ребенка. До конца своей жизни они потом вспоминали о том, как однажды повстречались с вихрем, начиненным столярными молотками.

Пони обожал после первых двух слов, сказанных, скорее всего, в пользу непорочного зачатия, устраивать тарарам.

И еще он обожал женщин. Причем дочь Евы для пробуждения его интереса должна была трижды перекрывать его собственные достижения в росте и в весе.

Дело было в одном ресторане, куда в конце недели вынес Колокольчика водопад повседневных свершений. Вместе с ним за столом восседал флагманский механик Слава Селеванов, по кличке Сильвер, внушительные размеры которого — один метр девяносто пять весом в центнер с хвостиком и кулаки с плоды хлебного дерева — могли внушать уважение разве только в самом начале разговора, но через несколько слов становилось ясно, что этот увалень может изуродовать только ложку.

В ресторане Диме понравилась соседняя блондинка. Она случайно обнажила колено, и в размерах оно оказалось точь-в-точь таким же, как и вдовствующего носорога из Гамбургского зоосада.

А потом она повела плечом, и чудовищная грудь вырвалась и затопила.

Участь Пони была решена: он влюбился и двинулся к ней через стулья.

Дорогу перегородил какой-то хер.

В туалете после солнечного апперкота хера пришлось усадить на унитаз, а спиной привалить в сливному бачку, немедленно же опорожнившемуся.

На улице их уже ждали. Но всех, почему-то интересовал только Слава Сильвер, и это было их большой методологической ошибкой. Пробиваясь к нему, они сталкивались с нечто, что меняло их направление и взгляды.

А Слава только размахивал руками, пытаясь изобразить на лице откровенное зверство.

И вдруг он попал. Единственный раз в жизни. Он попал в Пони.

Видимо, есть у человека на голове точка, прикосновение к которой вызывает немедленный сон. Комдив Пони упал и уснул.

В пять утра, плача, как мать Тереза, Слава Сильвер притащил его в штаб и положил в кабинете.

Устроив беднягу надлежащим образом, он сел в изголовье.

В семь утра Пони открыл глаза.

— Вот это да! — сказал он к невероятной радости Славы.

С тех пор в Славиной характеристике добавилось только одно слово: «Непредсказуем».

Радиола розовая

— У тебя член стоит?

Сереха недавно в ковше от экскаватора на службу ехал. У нас пешком идти километров восемь. А тут экскаватор шел по дороге, и ковш у него был сзади.

Сереха подбежал к нему с газетой «На страже Заполярья». На бегу жопу ей обернул, чтоб не испачкаться, и в него завалился.

Я почему-то вспомнил эту историю только сейчас, когда он мне про свое недомогание рассказывает:

— А у меня нет.

— Давно?

— Третьи сутки.

Для Серехи это катастрофа. У него, кроме того, что член стоит, никаких других способностей. Он тут недавно сокрушался: ты, мол, рассказы пишешь, Андрюха – тот что угодно починить может. А я? «А у тебя, — говорили мы ему хором, — член стоит в любое время суток!»

Теперь вот не стоит.

— Что делать будем?

— Пойдем к Эдику.

Эдик – корабельный врач. Я ему тут же по секрету сообщил, что Серега на службу в ковше от экскаватора приехал, и теперь у него член не стоит.

— Что ж, ему зуб от ковша в жопу попал?

— Вроде нет.

— Ну, тогда не говори всякую чушь.

Эдик Серегу долго осматривал. Мы с Андрюхой тоже присутствовать хотели – может, советом каким-нибудь можно будет помочь, но он нас выпроводил.

— Знаешь что? — сказал он ему через полчаса, а мы у двери подслушали.

— Что?

— Попробуй настойку радиолы розовой.

Радиола розовая – это корень. Модная в последнее время штука. У нас все уже попробовали – остался один Серега. Замачивается кусочек корня на острие ножа в бутылке водки на сутки, и по десять капель...

Серега замочил весь корень. У него водка стала цвета марганцовки. Потом он ее выпил. За вечер – всю. Ему, дураку, по десять капель мало показалось.

Мы с Эдиком ходили его спасать.

Спасли.

Потом у него член встал.

Фрагменты биографии

Свершилось! Господи! И я действительно получил возможность ощутить, что такое романтика офицерской жизни, что такое океан, увидеть, какой он: тихий и ласковый, гневный и беспощадный. Я увижу этих легендарных людей, узнаю, какие они бывают.

Да. Здорово.

А началось так: пришел я в отдел кадров ТОФ, во Владике.

Толстый каприз мне с порога: «Ты хыто?»

Я ему: «Лейтенант. Математик. Компьютеры».

Каприз другому капризу, откидываясь на стуле: «Палыч! Нам математика нужны?»

Другой каприз: «А на хуй нам математики?»

Тогда первый каприз мне: «Видишь, лейтенант. Нам математики на хуй не нужны. А ты вот что! Изжай-ка ты на Камчатку. Там вроде какие-то пароходы ебанутые с антеннами есть».

Пять дней незабываемого перехода на «Михаиле Шолохове», оттраханые девушки из соседней каюты с зелеными лицами, (попали в небольшой штормик) и «сопочки». Спрашиваю старожилов: «А сопки у вас есть?»

«Да-а-а. Такие... Маненькие...»

Ни хрена себе маненькие !

Напоролся я на начальника штаба, пока, задрав голову, на сопки смотрел, и был отодран за просто так.

А дальше все, как в первый раз:

«Так вот что, лейтенант. Ты нам тут на хуй не нужен. Хотя пожди, уточню. Петрович! Тут у меня лейтенант. Да! Математик. Я его на хуй послал. Да. (Вешает трубку.) Все правильно. Ты нам тут... совершенно на хуй не нужен. Но! В Питере стоит белый пароход «Маршал Крылов», так что пиздуй туда. Повтори приказ!»

«Пиздовать в Питер».

«Молодец!»

За два месяца я намотал 16 тысяч километров.

Мечта же — Питер, белый пароход.

Случилось это, когда мы возвращались от берегов Австралии домой. Был у нас один доктор с забавной древнегреческой фамилией Икар. Петя Икар. Небольшого роста, плотный, крепкий.

Парень хороший, веселый, ну, как и все доктора. Они ж, если что и отрежут лишнее, так хоть с юмором. Резали в походе матросу аппендицит целых восемь часов. Упились всей бригадой,

матросика упоили, шоб не так тоскливо было лежать перед лицом возможной смерти с распаханным брюхом, и шутят:

«Может, те хуй отрезать? А? Как считаешь? Болеть трепаком не будешь».

Шутили, шутили, но вроде отрезали только то, что надо.

Так вот через несколько дней Петя пропал. Ну куда человек может пропасть с парохода в Тихом океане?

Ну да, пароход большой, 211 метров в длину, но жрать же что-то надо.

Надо выходить пожрать, пописать, покакать, подышать приятным морским воздухом.

Короче, пропал. Дня три-четыре не вижу, а раньше каждый день заглядывал к нам.

И коллеги его молчат.

Как-то подозрительно молчат, глазки прячут.

Ну, думаю, что-то случилось.

Может, за борт выпал?

И тут... Иду я как-то на ужин. Глядь, а по коридору навстречу мне крадется маленькое, кругленькое безволосое существо, без бровей, все в струпьях и в каких-то лишаях и нашлепках, и лыбится мне ужасной зубастой улыбкой, а потом произносит Петькиным пропитым голоском: «Ну что, червь морской, Крюгера никогда не видел??!!!»

Господи, такого уroda я в жизни не видал (прости, Петя)! Стал я допытываться, что ж случилось, но был вежливо послан на три буквы.

Но мой комгруппы, Вад, раскололся. Главное, что мой сосед-каютник, Леша, тоже там был.

Но молчал. Не хотел меня расстраивать, что шило без меня исследовали. Сука.

Собрались три брата что-то отметить. (Не помню, то ли 23 февраля, то ли есчо что).

Достал Вад канистру с шилом, отлил в литровую банку. Петя, естественно, выразил сомнение в достаточности количественности. Но был успокоен и остаканен. Ну вот, мирно, чинно, с байками-прибаутками гудела тихо каюта.

Эх! Жизнь прекрасна! Ну хотя бы в такие минуты она точно прекрасна! И вот ребята навеселе, а энергия заканчивается, и топливо тоже на исходе.

Ну, надо же еще нацедить в баночку. Вот Вад поставил стекляшку, взял канистру и стал аккуратненько переливать. То ли руки там дрожали у кого, то ли ноги, и шильцо, забодать твое яйцо, слегка проливалось на палубу, забодать ты в сраку. Петруша же стал выражать свое сомнение в качественности продукта — мол, «вам, инженерам, технический дают, а он тока для протирки ваших компутеров и годится, а мы, медики, не привычны пить помой».

И с этими словами Петруня достал зажигалку и стал проверять жидкость на воспламенятельные свойства.

И, о, чудо, свойства эти были настолько превосходны, а пары настолько концентрированы, что Петя узнал об этом настолько точно и достоверно, что и вообразить невозможно.

Вспыхнувший спирт на палубе мгновенно перекинулся на струйку из канистры, а там и пары пыхнули.

А. Покровский

Видели, как работает огнемёт? Думаю, он был изобретен во время подобной попойки.

Петеньку окатило горящим спиртом сверху донизу.

Каюты наши оборудованы душевыми (ну БЕЛЫЙ ПАРОХОД же).

Петенька сразу на ощупь дверь душевой распахнул, но, видать, уж очень неприятные ощущения испытывал, потому что краник душа нащупать уже никак не мог.

И забился он, несчастный, полыхая синим пламенем и подвывая, как кобель с заземленным хреном, под раковину.

И съежился там, пылая и попахивая поджаренными охотничьими колбасками.

Вад же, придя в себя, бросился на помощь немедленно.

Вот он, КОМАНДИР!

Решительный, стремительный, четко рассчитывающий свои действия, невозмутимый в экстремальных ситуациях.

Он быстро открыл кран душа.

Пошла вода, хорошо пошла (ну БЕЛЫЙ ПАРОХОД же!) — и... стал решительными движениями набирать в пригоршни воду и брызгать туда, под раковину, где геройски догорал великий хирург и естествоиспытатель Петруша Икар...

Коротенько

Лойконен выдрал. Тут недалеко разбор был, и все командиры боевых частей выстроились, как гуси у корыта, и докладывают: «Личным составом укомплектованы, матчасть в строю, готовы к выполнению».

А я доложил, что не готов, печеные абрикосы хвостатого мамонта, собаки блудливые, шелудивые псы, потому что плавзавод мне подшипники менять не собирается.

И все, конечно, недоумевают, натуральнейшим образом чумеют, луковки бы им отпилить, попку отканифолить, а Лойконен мне говорит: «Что это у вас пилотка на нос надета? А ну-ка поднимите пилотку! А что это за чуб? Почему у вас такой чуб?! Почему не стрижены?! Вас, что, в чувство привести некому?!»

А флагманский подскочил и начал заикаться: «Ппп-о-чччче-му ммм-не не ддд-доложил о пппп-подшшшш-ип-никах?!»

А как тебе докладывать, фазан косоротый? На каком языке, мерин ты с бородавкой ценою в

А. Покровский

три копейки вместе с кружкой малофейки? На русском я тебе докладывал, только ты меня не услышал, сука ты и все такое.

А теперь вот все услышали — и красота.

Уррроды!

И подшипники мне через полчаса сделали.

Карловы Вары

Каминский попал в Карловы Вары. А там все очищаются. Пьют специальную воду семнадцати сортов по десять грамм каждого и прямиком в туалеты, которых вдоль дороги полно.

Но Каминскому, герою России, подводнику в прошлом (ордена в кулаке не помещаются), показалось, что по десять грамм — это очень мало.

Мало и, я бы сказал, ненадежно со стороны очищения.

— Я привык стаканами, — сказал он окружающим и выпил стаканами.

Через шесть минут его... занемогло.

И он пошел, пошел, все ускоряясь, а потом и побежал, побежал. Вдоль, ветляя, на подкисившихся по улице, уставленной туалетами.

Он бежал, сивка косоглазая, в гостиницу.

Почему туда, когда вокруг туалеты, он объяснить не мог. Помутнение рассудка. Некогда было объяснять, тем более что уже добежал, по лестнице взлетел, ломая на сгибах онемевший таз,

А. Покровский

и вбухался, но не в свой номер на третьем этаже, а, от ослепления, в чужой на втором.

Вбухался! Захлопнул! К двери! Туалета! Рванул! На себя! И! Одновременно! Разворачиваясь! Вокруг оси! Срывая штаны! Сел!.. А потом...

НАСРАЛ!!! (Ал! Ал!)...

С три короба.

И вдруг под ним что-то как заорет.

Он даже вскочил от недоумения.

А это тетка. Она в туалете сидела, и, пока он врывался и на нее садился, она молчала.

А тут вот не выдержала.

Чего-то.

Цунами не видели?

На ТОФе это было. Точно! Там я в первый раз и увидел цунами!

Мотя моя безмятежная — болячка на жопе, вавочка на пенисе! Ну и гора!

Лейтенантом я прибыл служить на эсминец. Пришел, представился. А мне старые капитаны говорят: «Давай-ка, лейтенант, дуй за водкой. А то мы без водки тебя очень плохо видим. Ты без водки маленький какой-то!» — и пошел я за водкой, для чего надо было чуть ли не всю базу по побережью по кругу обойти и еще идти и идти с горы на гору...

И, пока я шел туда, а потом назад с водкой, пошла цунами.

Ах вы, крабовые мамочки!

Стена из воды выросла, и пошла, и поперла, ломит, сминает.

Вернее, она мимо прошла. Мне-то ничего не сделалось, а эсминец мой вместе со старыми изголодавшимися капитанами за сопку зашвырнуло.

Так я и остался без места службы, но с водкой.

Прыг и Скок

Адмиралов не понять.

Они вдруг просыпаются посреди исторического процесса и сейчас же приступают к укреплению дисциплины.

А вокруг все уже изменилось пять тысяч раз.

В девяносто третьем году это было, когда денег никаких и вместо финансирования ерунда субтильная между ног болтается.

Курсанты тогда сами зарабатывали: кто вагоны разгружал, кто ларьки содержал, кто сутенером, кто рэкетиром.

А начальники факультетов по коридорам училища ходить опасались: там их запросто могли уронить, когда рота идет, наземь и сверху по ним пройти.

И вот в это время в одно воскресное утро появляется на училищном КПП настоящий проверяющий адмирал Скок по гражданке.

Вошел и представился слегка пьяному курсанту, дневальному по КП:

— Адмирал Скок!

А тот ему в ответ:

— Курсант Прыг!

И, вы знаете, адмирал остекленел.

Всем обликом и особенно из глаз: из орбит они вылезли и как фарфоровые стали.

К нему потом мичман подошел и по-дружески заметил:

— Вы бы, товарищ адмирал, если проверять пришли, по форме оделись, сердечно вам советую, а то ведь, не ровен час, и по морде можно получить.

Филиппыч

Филиппыч — флагманский врач. 08.30 утра. Доклад у начальника штаба. Уже обсудили море, выход, когда, кто, кого. Слово флагманскому врачу.

Он начинает, немного раскачиваясь:

— Тут на ПКЗ две собаки... я не знаю... они гадят... я не знаю... Эти собаки...

Начштаба, скрипнув креслом от нетерпения:

— Значит, так! Собак убрать!

Доклад на следующее утро. Уже обсудили море, выход... Слово флагманскому врачу:

— Тут опять эти собаки... я не знаю... гадят... эти... собаки...

Начштаба, крякнув:

— Так! Удавить! Утопить! Принять меры!

Третий день. Доклад: море, выход... Слово флагманскому врачу:

— Тут эти собаки...

Начштаба стонет и тонким голосом с надеждой:

— Неужели гадят?

В ответ долгое:

— Да-а-а... я не знаю...

Потом энергичное справа:

— Я знаю! — это флагманский по живучести, и все сразу обращаются к нему. — Я знаю, что надо делать!

— Ну?!

— Надо им жопу зашить!

Начштаба немедленно сейчас же с облегчением:

— Вот! Утверждается! Филиппыч! Прости, но жопу зашивать — это уже по твоей части!

Результат: больше Филиппыч о собаках не докладывал.

Вывод: видимо, зашил им жопу.

Негорючий керосин

К вертолетчикам назначили нового орла по пожарной безопасности. Старый никогда по территории не ходил, а новый сразу же отправился.

Первое, что он увидел, — это как заправляли вертолет керосином: два вертолетчика заливали его с помощью шланга в вертолетное темечко и при этом курили.

— Почему курим? — спросил орел.

— А чего не курить? — ответили ему. — Это ж негорючий керосин. Недавно изобрели. Да вот, — вертолетчики нацедили керосина в ведро и бросили туда окурочок.

Тот зашипел и сейчас же потух.

Дело происходило на морозе, и вертолетчики ничем не рисковали. Взрываются-то пары.

А от мороза они не образуются.

Орел обалдел, схватил ведро с керосином и помчался в курилку.

— Вот! — закричал он ослабевшим от курева. — Изобрели! Негорючий керосин!

После чего он поставил ведро на пол, выхватил у ближайшего очумевшего от такого напора курильщика изо рта охнарик и, размахнувшись, остервенело запустил его в ведро.

Пары к тому времени уже успели образоваться.

Тепло же.

И как юхнуло! Столб огня до потолка, и там все выжгло.

Еле успели отшатнуться.

Тот орел долго потом был не в себе, а рядом. Его спрашивали: «Вы в школе-то учились?»

А он отвечал: «Так негорючий же был».

Смурно

Старпом Гаврилов, знаменитый своим выражением «не ссы мне соль на раны», медленно движется вдоль строя.

Он огромен и сучковат.

В смысле старпом, конечно.

Собственно, построения еще нет — команды не было, люди стоят сами, а старпом не выспался: ночь на борту, отработка по борьбе за живучесть полное «г», козлы вахтенные, вентиляция в каюте, вонища, спал лицом в подушку и опух.

Строй чирикает, как весенние воробьи: офицеры еще сорок минут назад лежали на женщинах, хорошо, тепло, старпом идет.

И вдруг ему почудилось, что где-то на траверзе сказали слово «старпом». Он мгновенно разворачивается всем телом — и первому попавшемуся лейтенанту: «Закройте рот!!!»

Это даже не крик, это рев, камнепад, рык, обвал, стихия так падает.

Оцепенели. Одеревенели. До того неожиданно. Да. Секунда проходит, потом старпом движется далее, и с боков, потихоньку попробовав, зачирикали вновь...

Взамшело

Если б не патруль, я бы затерялся в этом городе, как плевок в ночи.

А так не получилось.

Я наткнулся на него на вокзале.

— Товарищ капитан третьего ранга! Почему не отдаете честь?!

Их было двое: капитан первого ранга и второго.

Они шагнули ко мне из прошлой жизни, а меня в этот момент уже ждала жизнь настоящая. Их надо было нейтрализовать.

И я заговорил.

Немыслимой скороговоркой.

— Виноват! Товарищ капитан первого ранга! Взамшело! Потерян! Светофоры, переходы, женщины, троллейбусы! Только что из белого безмолвия: рыбы, раки, росوماхи, карельские березы! Ошарашен, товарищ капитан первого ранга, лишен чувства реальности происходящего и в настоящий момент готовлюсь к отдаванию воинской

чести! Асфальт не позволяет мне сразу и без кривлянья принять строевую стойку, но все это поправимо! Все это поправимо!

Капитан первого ранга смотрел на меня с пониманием.

Капитан второго ранга смотрел на меня во все глаза, и в глазах у него был вой Кассандры.

— Подводник? — вяло спрашивает каприз.

— Так точно! — отвечаю вихрем.

— Свободен, — говорит он мне, а испуганному напарнику замечает: — Спокойно. Это не сумасшедший. Это подводник. Слышишь, как быстро говорит? Учись их отличать. Они все так говорят. Пусть идет. Раз подводник — значит, уже наказан.

Карпуша

Командир БЧ-5 Федор Федорович Карпуша был тихий алкоголик — три зуба во рту.

Маленький, с ручками, растущими из-под мышек, круглый и мягкий, — он никому не мешал, всегда ходил и напевал — три зуба во рту.

Особенно перед тем, как спирт получал.

Потом он запирался в каюте на три дня и пил — три зуба во рту.

А его Колтону заложили — три зуба во рту.

А Колтон — флагманский. Огромный, сильный, страшный — глаза безумные.

И жутко-жутко волосатый.

Он такой волосатый, что у него на груди волосы легко рубашку протыкают.

Он пришел на корабль поступью солдата Фридриха Великого — тух! тух! — спустился вниз — и к двери механика.

Раз! — за дверь — а она не открывается.

Раз! — а она ни в какую, и за ней тишина дупла.

И тогда он с ревом — волосы, седые и колючие, дыбом — начинает ломать дверь, и вот он ее уже сломал и вошел поступью солдата — тух! тух! — а ему навстречу Карпуша взопрелый, — маленький, мягкий и совершенно беззубый — падает на колени, простирает ручонки и верещит, мотая головенкой:

— Отец родимый! Не по-гу-би!..

А. Ибрагимов

А. Ибрагимов всегда сморкался. Перед строем, когда нас воспитывал, и в казарме. Он так харкал на окружающие кусты туи, что харкотина надолго повисала на них фантастической медузой.

И ее было так много, и казалось, там в ней немедленно что-то заведется и яйца отложит какая-то жизнь.

Он был воспитателем.

Воспитывал нас.

Обращаясь к мужчинам, он добавлял: «ебенуть», а к женщинам — «едремуть».

А у себя в кабинете он сморкался в ящик стола (после чего сейчас же харкал, и все это падало туда с замечательным стуком). «Петровский! — говорил он, выдвигая специально для этого подготовленный пустой ящик. — Тьфу! Хррр-хва!»

А перед строем он говорил: «Наши Вооруженные Силы! (харчок) Должны! (плевчок)» .

И еще он говорил: «Наш священный долг!»
(тьфу!)

Но потом с ним что-то случилось. Может быть, начало какого-то перерождения, потому что во время смотра казармы он сначала было выморкался на пол, а потом долго оглядывался, об чего бы руки вытереть.

Нашел взглядом личное полотенце и только потянулся к нему, как тут его и поразило.

Так остался с протянутыми руками, но потом в себя пришел и вытерся.

О занавеску.

Я

Я тут в лоб недавно получил. Козленкова домой вел, а перед самой дверью в парадное он вдруг глаза закатывает, цепляется за меня, ползет по мне вверх и говорит: «Пятый этаж, дверь семьдесят!» — пришлось тащить его на себе. Звоню в дверь — открывает жена. Я такую женщину вообще никогда не видел. Рост — два метра, руки — как у вратаря. Я начал смотреть на нее с живота, а закончил вершиной головы, и на это у меня ушла уйма времени.

А она увидела своего уroda у меня в руках, молча протянула руку и его у меня отняла, а потом так же молча свободной рукой закатила мне в лоб, и я, молча, упал.

Хуй знает что такое.

Оторва

А еще говорят, что подводники всегда друг дружку разыгрывают. На это я говорю, что подводники никого не разыгрывают. Просто они так живут. Придумывают еще одну параллельную жизнь и в нее играют.

Потому что, если играть только в одну эту жизнь, — рано или поздно трогаться. А так — еще одна — и отпускает.

Вот пришла дизелюха в Польшу, а там как раз «Солидарность» активизировалась, и на улице, чтоб не побили, русским вообще появляться не рекомендуется. Рожу жалко.

А Боря был «ботаником». А «ботаником» на дизелях называют круглых отличников после училища, и называют их так потому, что круглый отличник на флоте все равно не жилец.

Он вообще не там летает, а если и летает, то у него совсем другие крылья.

На пирс привезли продукты. Сгружают. На мостике Боря и Славка Тырин — но это электрик и

такая оторва, что при нем лучше свой рот не открывать.

А Боря открыл.

Там на пирсе груды лежат и сверху масло в пачках, перепоясанное красивыми бумажками.

— Что это, — спросил Боря.

Славка думал недолго. Можно сказать, что он вообще не думал, потому что именно это место у него всегда в отсуствии.

— Деньги привезли. Прямо на пирсе менять будут, чтоб в город не ходили.

— По сколько меняют?

Славка что-то в голове все-таки прикинул:

— По восемьдесят рублей в одни руки.

Дальше все поехало само собой.

— А можно мне сто шестьдесят поменять?

— Можно, — вздохнул Славка Тырин, и любой на месте «ботаника» его за это потом... — но только с разрешения командира.

Командир перед заходом не спал трое суток и поэтому, как пришли, немедленно завалился.

А все уже знали, что Боре надо поменять 160 в одни руки, и ждали.

Боря постучал в дверь командирской каюты:

— Разрешите?

— Га-а? А? Что?

— Товарищ командир!

— Га-а?

— А можно мне сто шестьдесят поменять?

Меняют по восемьдесят рублей в одни руки, но дизелисты не будут менять — можно мне?

— Чего?

— Ну, деньги. Пачки. С вашего разрешения. В одни руки.

И тут командир как заорет:

— Да бери ты в обе руки! Деньги! Пачки! И в обе ноги! И в рот! И в нос! И в жопу тоже! Есть у тебя еще дырка? А? Есть?..

.....

Честно, я бы Славку Тырина после этого убил бы на месте, но нельзя, потому что такая жизнь.

Другая история

Ветлугин всем надоел. Стоял на пирсе и говорил проходящим:

— Видимо, я в море не пойду. У меня комсомольская конференция. Видимо, я в море не пойду...

А вокруг бегают. Отчаливать скоро, и потому мечутся все как ошпаренные, а он стоит и конючит:

— Видимо, я в море...

Сволочь, одним словом, комсомольская. Инструктор политотдела. Им в море надо в году, кажется, на две недели сходить, чтоб из плавсостава не вылететь. Так они что придумали: продовольственные аттестаты за себя в море посылают. А тут узнали наверху, и теперь вот придется ему пойти. Ишь как страдает, Растрелли!

— Видимо, я...

Пошел он-таки — в последний момент забросили, — пошел, но сейчас же придумал, что его при всплытии в надводное положение обязательно вертолетом снимут.

Конечно, снимут. Как же без него эта воючая конференция.

— Пришлют вертолет, и меня...

Снимут. Перевезут. Подмоют. Усадят в президиум. Конечно. Обязательно. А как же!

И вот всплыли в районе. А вокруг вертолетов летает тьма-тьмущая: датские, голландские, английские — тьма.

А комсомольцы их все равно не отличат. Им же главное — на конференцию попасть. А на чем вертолете они туда попадут, им же не важно.

И отбили радиограмму: «Передать в квадрате пять Ветлугина-комсомольца на вертолет для прибытия на конференцию, для чего оставшиеся продукты выдать ему сухим пайком».

Две сетки доверху нагрузили: картошка свежая, картошка сухая, лук, чеснок, рис (пятнадцать грамм), крупа ячневая, яйцо куриное (одно), хлеб черный (четыреста грамм), хлеб белый... говядина... — в общем, две сетки.

Доверху.

И по трапу с удовольствием помогли.

А на мостике командир.

И вертолеты, как бабочки, летают.

А он выбрался на мостик, кряхтит, и, кивая на датский вертолет:

— Это за мной, товарищ командир!

Командир, обернувшись, даже рожу помял.

— На конференцию... комсомольскую... прислали...

Вот у них у обоих лица были через мгновение — это ж одна красота!

С дикой силой

Человек на флоте мечтает. Он так мечтает, человек на флоте, с такой дикой силой, что мечты его иногда сбываются.

Вот мечтали Вовка с Витькой с курсантских миндалин, что перед самой пенсией целый год будут служить на лодке-музее. (Это некая лодочка. Ее на землю выволокли, все внутри отмыли и сделали музей — кассирша, поломойка, четыре матроса, столько же мичманов и столько же экскурсоводов из бывших командиров кораблей).

— А мы на ней начальниками и баб там трахать!

— Точно!

И все это с такими многочисленными слюнями, соплями и уютными потягиваниями, что не прошло и двадцати лет, как их последовательно — одного за другим — перед самым увольнением в запас с проклятуших дизелей в этот санаторий назначили.

Эх, мандарин крученный, жизнь наступила!
И немедленно баб!

Да!

Немедленно! С визгом и пополам!

Затащить на экскурсию, все ей показать, по всем щелям — трубы, трубы, трубы — протащить на карачках и волоком и потом поднять, подвести к открытому торпедному аппарату, а там светящаяся дорожка из лампочек, которая уходит далеко вглубь — красиво и перспективно.

И говоришь бабе:

— А вы не хотели бы в этом удивительном месте потрахаться?

А она, потрясенная:

— Хочу! — и ты ее ставишь головой в аппарат, и через некоторое время она как начинает стонать — а в аппарате эхо быстрое побежало-побежало-побежало: — А-ааа... А-аааа... А-аааа-мочки!

В общем, мечта!

Целый год так служили.

Я с командиром

Я с командиром давно вражду, а тут аттестация подоспела, и он решил мне дать объективную характеристику, чтоб хоть как-то меня уесть (чтоб им ровненько на жопу сесть).

А мне на всю его писанину плевать — хыррр-тьфу! — с расстояния одного метра обсосанными косточками вяленой вишни, коломягина мать, и переводиться я никуда не собираюсь, и как он только скажет мне: «Не будет вам в академию положительной характеристики!» — так я ему в ответ: «А на кой куй мне ваша академия? Чему меня там научить могут?» — на что он говорит: «Ну, блин!» — но сделать ничего не может.

Да и как тут сделаешь, если я классный специалист и об этом все знают?

А в характеристике были такие обязательные слова, как «отличник... специалист... политику понимает... делу предан».

Они шли сплошным потоком, и вставить туда что-то живое никак не получалось.

Он пока вставлял — испариной покрылся.

Не выходило у него.

Не выкраивалось.

Наконец пристроил. Между фразами «Мореходные качества хорошие» и «Уставы Вооруженных Сил знает» он вставил одно только слово: «Ленив» — и два дня ходил жутко довольный.

Прошу вас

А меня на крейсере здорово встретили. Командир стоял у трапа. Я представился, а он: «Здравия желаю, товарищ лейтенант!» Я, честно говоря, немного даже смутился: командир — и вдруг с лейтенантом так отчетливо здороваются. Ну, думаю, наверное, положено так, и тоже поздоровался. А он мне говорит: «Очень вовремя вы у нас появились. Сейчас я вас провожу в кают-компанию и представлю всему офицерскому составу». И вот идем мы с ним, он впереди, я сзади, но в проходах и перед дверью он останавливается, пропускает меня вперед и всякий раз говорит: «Прошу вас».

А идем мы довольно долго, как мне показалось. Я уже в трапах и переходах совершенно запутался, но вот подходим к кают-компанию, входим, а там офицеры — красивые, все в парадной форме, — с шумом встают, и командир меня представляет, подводит к каждому, знакомит, мне пожимают руку, смотрят в глаза с сумасшедшей любовью и все такое.

На мгновение мне даже почудилось, что я в прошлый век попал: в кают-компании сервировка, вестовые порхают, рояль и за ним кто-то музицирует.

«Прошу за мной», — говорит командир, и ведет меня далее. Опять идем очень долго, опять «Прошу вас!» — и, наконец, подходим к какой-то яме.

Командир, ни слова не говоря, в яму, я — за ним. Спустились.

«Вот! — говорит командир. — Поздравляю! Ваш боевой пост. Сейчас я задраю люк, и больше вы отсюда не выйдете до тех пор, пока не сдадите на допуск к самостоятельному управлению. Еду будут приносить, нужду будут выносить. А как сдадите, будем рады видеть вас в кают-компании».

После этого люк захлопнулся, и я остался в яме.

Потом погас свет...

Пенкина

Пенкина никто не хочет домой после пьянки отводить. Жена у него здорово ругается, когда притаскиваешь на себе это тело.

А пьет эта скорбная дрянь, пока не упадет. Каждый раз нового провожатого назначаем. Тут назначили молодого лейтенанта, он его до вокзала до подъезда, быстренько затащил на этаж, ключ в дверь одной рукой вставил, повернул, дверь распахнул, а другой рукой, пока жена не появилась, его туда впихнул, дверь захлопнул и бежать.

Утром Пенкин приходит на службу и говорит:

— Кто меня вчера домой доставлял?

— А вон, — говорим, — лейтенант.

— Слушай, лейтенант! — говорит Пенкин. — Что ж ты наделал?

— А что такое?

— Так у меня же там две двери! Я потом застыл, между ними распяленный: руки в стороны, рот наоборот, полный слюней, течет. Только и мог, что когтями скрестись... Жена думала, мыши. До утра... вот... стоял...

Скорость мышления

Помощник Шинкин думает наперегонки с шагом.

Поэтому всегда можно определить скорость его мышления.

Сам Шинкин — маленький колченогий брюнет с ручками-пропеллерами, они у него приделаны сбоку и болтаются.

«Завтра аттестаты! (Быстрее!) Проверить! (Ну!) В дивизии приказы! (Так!) Нарыть! (Ага!) И количество на борту! (Скорость-скорость!) Не забыть! (Ух!) Уродов (криворотых) подстричь! (А!) Козлов истребить! (Б!) Физически(Поддать!) Петрова посадить! (У!) Через сутки за бутылку назад выкупить и на ввод ГЭУ. А то напьется, как в прошлый раз, скотина! (Бегом!) Химику наступать по роже! (Фу!) Песню распечатать и раздать по подразделениям. (Тра-та-та!) Списки на классность представить! Хаджимуратова сгноить! Людей сверить! А то получится ху...»

И тут он падает в люк. Тот встретился по дороге и за заботами не был замечен.

А. Покровский

Шинкина привезли на корабль на тележке с загипсованной ногой. Грузили на корабль на таях.

На таях он думал медленно: «Завтра... аттестаты... проверить...» — ну и так далее.

Север

Утро. Ветерок. Такой легкий-легкий. Просто беда, до чего нежный. И по щеке. Гладит.

А ты улыбаешься не поймешь чему. Справа, перед строем, слышится старпом. Что бы он ни говорил, он всегда начинает раскатисто: «Миф!.. О не-по-бе-ди-мости Красной Армии!.. Развеян давно!..» — а теперь он кого-то дерет: «Вы будете прилюдно лизать потные бараньи яйца!» — но тебе это не мешает. Ты уже научился отключаться, бежать от действительности. Да и действительность ли она? Ничем это не доказано. Сейчас закрою уши и глаза — и останется только ласковый ветерок. А там и солнце подоспеет. Вдруг ни с того ни с сего начинает нагревать щеку. Левую. А правая в тени, и ей прохладно.

Натюрморт

С утра матрос повесился,
мичман застрелился,
комдив всю ночь за женой с кувалдой бегал,
Павлов на зама блевал,
а в первом отсеке батарея взорвалась —
палуба раком встала.

И еще комиссия по нашу душу из Москвы
летит.

Старпом сидит у себя в каюте и говорит:
— Может, мне наебениться? А?

Потом он выпивает кружку спирта и пада-
ет навзничь.

О критической точке

Знаете ли вы что-нибудь о критической точке?

Знаете ли вы, что каждый предмет имеет критическую точку, в которую ткни — и он тут же развалится?

Вот, например, граненый стакан. У вас в руках когда-нибудь рассыпался граненый стакан?

Капитан второго ранга, дежурный по дивизии атомоходов, и лейтенант, дежурный по казармам, стояли и смотрели на сосульку.

С утра получили телефонограмму от командующего: «Сбивать сосульки!» — вот почему они на нее так смотрели.

Эта сосулька весила тонн пять, не меньше. Выросла она над самым входом в подъезд непонятно как, и крышу казармы она в любой момент могла стянуть, словно уличный хулиган шапку с младенца.

Видите ли, некоторые приказания на флоте отдаются не для того, чтоб их выполняли.

Они отдаются для того, чтобы напомнить о правилах игры.

То есть командующий приказал: «Сбивайте!» — на что ему потом доложили бы: «Ваше приказание выполняется!» А он назначил бы новый срок выполнения, поскольку в старый никто не уложился.

А ему потом опять доложили бы...

В общем, это должно было длиться и длиться, и не просто так все должно было происходить...

И вот поэтому дежурный по дивизии привел с собой лейтенанта, чтоб тому на месте все стало ясно.

Надо было что-то делать. Дежурный по дивизии, в звании капдва, не отрывая своего взгляда от сосульки (как будто если он оторвет, то она куда-то денется), осторожно присел, слепил снежок, встал, размахнулся и бросил его в сосульку — снежок в нее попал и прилип.

Тогда дежурный по дивизии слепил еще один снежок.

А лейтенант сначала следил за ним, как за ненормальным, но потом сам присел, слепил снежок...

И его снежок тоже прилип к сосулке.

— Я думаю, ты задачу понял, лейтенант, — сказал капдва со значением.

— Так точно! — ответил лейтенант, и этот ответ был правильный.

— Как собьешь... — капдва позволил себе задумчивую паузу, — ... доложишь.

Оставшись один на один с сосулькой, лейтенант думал секунд десять. Потом он поднялся на пятый этаж, зашел в галльон и открыл форточку, а сосулька — вот она, рукой подать.

Лейтенант взял шланг, присоединил его к отопительной батарее, благо, что там краник был, и горячей водой через пять секунд растопил чудовище. Сосулька рухнула вниз с таким грохотом, что там внизу чуть кого-то не убила.

Лейтенант сошел на землю и посмотрел: сосулька лежала перед входом в подъезд гигантской грудой, и та ее часть, куда снежки попали, сохранилась.

— Сбил! — доложил лейтенант.

— Что? — не понял дежурный по дивизии.

— Сосульку сбил!

— Иди ты!

И вот они оба стоят над мертвой сосулькой.

— Ты чего, лейтенант, — дежурный, казалось, был не то чтобы не рад, он был, скорее, озадачен, — как это?

— Так ведь вы приказали!

— Ну, я приказал, и что?

— Вот я и сбил.

— Снежками?!!

Тут лейтенант задумался.

Думал он полсекунды.

— Так точно!

— Как это?

— Попал в критическую точку.

— Куда попал?

— В критическую точку. У каждого предмета есть критическая точка. Из физики. Ткни в нее — и предмет развалится. Вот у вас граненый стакан в руках никогда не рассыпался? Ставите стакан на стол, а он вдруг разлетается на мелкие кусочки.

Видимо, у дежурного в руках стакан рассыпался.

Он пошевелил сосульку ногой и доложил старшему помощнику начальника штаба.

— Как сбили? Снежками?!!

— В критическую точку попали.

— В какую точку?

Через несколько минут старший помощник увидел сосульку. Наверное, он помнил физику и у него в руках рассыпался граненый стакан. Он решил сам позвонить начальнику штаба флотилии.

— Сбили, товарищ адмирал!

И, о, чудо, начальник штаба, адмирал еще помнил о физике, потому что у него в руках, видимо, тоже что-то там рассыпалось.

А вот командующий о физике не помнил. Вернее, он не поверил.

На то он и был командующим. Что-то здесь было не так. Что-то не так...

И не то чтобы в его руках не рассыпался граненый стакан, нет, он у него, может быть, и рассыпался, но...

Нарушился годами сложившийся порядок, правила игры, что-то пошло не по накатанному, и это «что-то» беспокоило командующего.

— Это у нас пятая казарма с той сосулькой была?

— Так точно! Пятая.

Командующий посетил пятую казарму. Он увидел то, что осталось от сосульки, задрал голову и поднялся на последний этаж. «Смир-ррр-на! Товарищ командующий!..»

Командующий прошелся по помещениям, заглянул в галюн...

Он долго стоял и смотрел на батарею.

Все недоумевали. Все ждали.

И все дождались: командующий открыл форточку, и быстренько подсоединил к батарее валяющийся рядом шланг.

До форточки шланг доставал.

Мало того, он высунулся в форточку.

— Так! — просиял командующий. — Лейтенанту благодарность, а остальным... — и тут глаза его совсем потеплели, — а остальным... — он, казалось, что-то вспомнил, — а остальным... приготовить свои критические точки...

Палыч

Палыч — артист. Цирка. Канатоходец. Но теперь он на пенсии и любит рыбачить.

Пошел он как-то рыбачить к нашему забору. Там, если вдоль забора идти, есть одно место.

Но в этот раз почему-то ничего не ловилось.

Утро. Туман. Не клюет. Пошел назад — в заборе дырка.

«Дай-ка я, — думает Палыч, — к военным пролезу, на пирсе половлю. Все равно они в таком тумане и утром в воскресенье ничего не увидят».

Прошел и сел на пирсе.

А туман действительно хоть куда. Пирс на семь шагов вперед видно, а больше ничего.

И из тумана к нему канат тянется. Ясно, что там дальше корабль стоит, угадывается он, но сам корабль не видно.

« Вот если б с корабля половить?» — подумал Палыч, взял свое ведро в одну руку, еще одно ведро — там на пирсе стояло — для противовеса в другую руку, встал на канат и пошел.

Скоро он уже сидел и тихонько удил.

А дежурный по кораблю вышел подышать. Туманище, ни черта... и тут он видит спину. С удочкой.

Дежурный подумал, что он спятил или инопланетяне прилетели, время и пространство поменяли... Он подошел к Палычу и тихо, чтоб не спугнуть:

— Дед... ты чего?..

— А чего?..

— Здесь-то чего?

— Ничего.

— Сидишь-то чего?

— Ужу!

— Так ведь нельзя же!

— Кто сказал?

— Я.

— Почему нельзя?

— Потому что военный корабль. Ты как сюда попал?

— По канату.

— Как по канату?

— Как обычно. Неужели не знаешь? Встал и пошел. Да вот!

С этими словами Палыч подхватил свои пожитки, встал на канат, и ушел по нему в туман, как растаял, раскинув для противовеса два ведра.

«Что это было?» — долго думал потом дежурный, но сколько он ни вглядывался в туман, так он в нем ничегошеньки и не разглядел.

Савва Матвейч

Савва Матвейч, командир БЧ-5 большого противолодочного корабля «Адмирал Петушков», сошел на берег в субботу вечером и отсутствовал до понедельника.

А в воскресенье перешвартовали корабль к тому же пирсу, но с другой стороны, а трап с названием «Адмирал Петушков» остался лежать, потому что эту уродину двигать — здоровье терять.

И вот в понедельник на пирсе появился механик, совершенно пьяненький.

А народ уже стоит на подъеме флага и за пьяненьким механиком с удовольствием наблюдает, потому что Савва Матвейч до трапа, лежащего на пирсе, дошел, вступил на него с поднятой в приветствии рукой и пошел, совершенно не обращая своего механического внимания на то, что трап не стоит под градусом к планете, а лежит и корабля на том его конце, как ни тужься, не наблюдается.

Савва Матвейч молча дошел до конца трапа, не обнаружил корабль и вынужден был вер-

нуться к самому началу. Там он снова вступил на трап, и, подняв руку для отдания чести, торжественно двинулся вперед, тщательно выверяя каждый свой шаг.

В этот раз он двигался в два раза медленнее.

Он дошел до конца — корабль исчез.

Савва Матвеич стоял на трапе довольно долго, думал и не решался ступить на пирс. Наконец, он решился. Ступил и отправился в начало трапа в третий раз.

— Что это он? — спрашивали в строю те, до кого все доходит позже.

— Корабль потерял, — отвечали им.

— А-а-а... — отвечали они, а механик отправился к этому времени в пятую попытку.

Потом он сел и заплакал.

— Без меня ушли, — плакал он, — родимые...

— Матвеич! — услышал он голос с небес. — Ты чего там расселся?

— И-я-я? — мех в ужасе смотрел в море и в небо: ему казалось, что с ним разговаривают ангелы.

— Ну, ты, конечно! — голос был строг. — Чего ты там сидишь?

Звук шел непонятно откуда, и механик, отвечая, на всякий случай робко обращался к водной глади.

— Так ведь... корабля-то... нет.

— А где он?

— Ушел... кораблик...

— Совсем?

А. Покровский

— Ну да... совсем...

— А куда он ушел?

Они разговаривали бы так еще очень долго, если б за спиной у Матвеича не раздавался, наконец, дьявольский хохот.

Матвеич обернулся в ужасе, как если б ему предстояло узреть преисподнюю.

И о, счастье!

В ту же секунду он нашел свой корабль.

Алмаз

Знаете ли вы, что такое полная географическая невинность?

Полная географическая невинность — это когда моряк на карте плачет и не может найти Америку.

А высшая степень все той же невинности? Это когда проходим Гибралтар и я говорю сигнальщику: «Вот ведь в точку попали! Слева — Европа, а справа — Африка», — а он смотрит на меня, вытаращив глаза, и говорит одно неприличное слово, которое в обычной, гражданской жизни можно заменить только тремя: «Ладно вам привирать».

А как радовался мой матрос из далекой Сибири, когда он первым понял, что такое «десять в минус десятой степени»?

Он был просто счастлив. У него не было сил сдержать себя, он засмеялся и тут же дал подзатыльник тому своему товарищу, до которого это пока не дошло, после чего он сказал ему: «Ну ты и бестолочь!»

А потом мне прислали Алмаза. У Алмаза в графе «специальность» стояло «киргиз».

И по-русски он знал только два слова: «шестнадцатый склад».

Алмаз был человеком потрясающей доброты и всю жизнь прослужил на камбузе.

А он так хотел быть дозиметристом.

Когда он попадал-таки на свое родное ЦДП, он садился в кресло, и лицо его обретало покой.

Как-то он пришел на моей смене как раз перед докладом в центральный.

А мне до смерти надо было в галюн.

Я усадил Алмаза перед пультом и сказал, показывая на каштан: «Когда отсюда скажут: «ЦДП!» — ответишь: «Есть, ЦДП!» А если скажут: «Есть, пульт!» — доложишь: «На ЦДП замечаний нет!» — после чего я кубарем слетел по трапу в галюн.

А центральному захотелось открыть переборочные захлопки.

«ЦДП!» — Алмаз сидел перед пультом, спокойный, как внучатый племянник Будды.

«ЦДП!» — «Есть, ЦДП!» — «Открыть переборочные захлопки по вдвунной!» — «Есть, ЦДП!» — сказал Алмаз и отвернулся от каштана. Захлопки он, конечно, не открыл. Он даже не знал, что это такое.

«ЦДП!» — «Есть, ЦДП!» — «Открыть переборочные захлопки...» — так они общались минут пять, пока я пребывал на дучке.

«ЦДП!!!» — орал центральный. «Есть, ЦДП!» — отвечал ему великолепный Алмаз. На-

конец центральный не выдержал: «ЦДП! Что у вас там происходит?!» — слова эти были новые, и Алмаз решил, что пора воспользоваться второй частью разрешенной ему фразы: «На ЦДП замечаний нет!»

Как-то с нами пошел доктор из института. Он всех матросиков заставлял проходить психологические тесты, заполнять таблицы. Ночью поднял Алмаза после смены на камбузе таблицу заполнять — крестики-нолики ставить. «Я ничего не знаю!» — сокрушался Алмаз. Самым близким для него человеком на корабле был я, и он явился сокрушаться ко мне.

«А что тут знать? — сказал я. — Тут же крестики надо ставить! Вот и лепи!»

Алмаз повеселел и принялся лепить крестики.

«Стой! Ты подряд-то не лепи. Ты их ноликами разбавляй»

Алмаз стал разбавлять. Когда он почти закончил, я его опять остановил: «Парочку оставь. Доктор спит уже? Хорошо! Сейчас ты его поднимешь и скажешь, что как раз в этом месте ты ничего не понимаешь».

Алмаз — человек с юмором, он криво усмехнулся и отправился будить доктора.

О смехе

Все, что я здесь расскажу о смехе, когда-то уже было сказано.

Великим или мелким. Мыслителем или не мыслителем.

Например, Гоголь считал смех — порядочным человеком.

И это правильно, потому что порядочный человек всегда ко двору.

Мироздания, конечно.

А смех есть великое приобщение к тайнам того же мироздания.

Так говорили древние.

И еще они говорили, что время смеха не засчитывается в жизнь.

То есть уже древние интересовались смехом и пытались понять, разгадать, объяснить и себе и окружающим его феномен.

А действительно — как, почему, отчего? — возникают все эти судорожные всхлипывания, содрогания, встряхивания всего организма?

Они возникают от понимания — это тоже кто-то сказал. Так оно на человека действует, понимание или подсоединение ко Всеобщему Знанию.

А при подсоединении возникает перепад, может быть, напряжения, которое отнюдь не губительно, оно даже полезно, потому что губительно как раз существование вне этого подсоединения и перепада.

И человек вдруг понимает устройство.

Чего угодно.

Что вызывает смех.

Смех посрамляет пафос. Да-да, он его подстерегает и посрамляет. То есть показывает всем его полный срам. А срам у пафоса всегда полный, потому что я нигде не видел незначительный срам пафоса, недосрам или полусрам. Нет! У пафоса всегда срам полный. Как обвал в горах, который не может быть недообвалом или полуобвалом.

Но, посрамляя, смех не уничтожает пафос. Отнюдь.

Он его подстригает, не дает ему разрастись.

Потому что пафос-переросток — это уже пошлость, а пошлость — неправильно понятая ценность (одно из определений).

Значит, смех позволяет пафосу существовать, постоянно указывая на его тщетность в виде некоторого газона, радующего глаз, и тем самым смех делает все ценности правильными.

Если они ценности.
А не какая-нибудь там лабуда.

То есть смех — это правильно. Это хорошо. Это должно быть. Чтобы жить. Чтобы не умереть. Необходимо. Не завтра, а сейчас. Всем. Как воздух. Да. А вы думали? Если вообще думали. Очень. Нужен. Чтобы не вылететь из цепи случайностей, возникающих по вине особого многомерного, многогранного устройства Вселенной.

Когда в него, в это устройство, влезают со своим убогим трехмерным воображением всякие недоумки и пытаются ножницами отхватить от нее, Вселенной, подола кусочек, чтобы выкроить из него свой миф.

И тут появляется смех.

Смех позволяет увидеть себя со стороны и тем оправдать свое существование.

А как по-другому доказать себе, что ты существуешь? Только посмотрев в зеркало, скорчив себе рожу, завопив при этом: «Молчать! Право на борт! Молчать! Право на борт!»

Вот так и возникает смех — великое понимание невеликих вещей.

Пафос и эрекция

В этом мире связано все.
Особенно пафос и эрекция.
А почему?

Потому что в свое время на Олимпе среди
красавцев затесался один очень вредный божок.

Его звали Пафос.

Его боялись все, потому что он отвечал
за эрекцию.

И он мог лишить этого ценного качества
любого бога.

А действительно, что за пафос, если нет
эрекции? Кудри, грудь, руки, ноги и прочее — и
вдруг без вот этого. Без эрекции. Для чего же тог-
да кудри и грудь?

Его даже Зевс боялся.

Пафос действовал всегда исподтишка, и
всегда все обнаруживалось в самый неподходя-
щий момент.

«Ах ты!..» — восклицал Апполон, открыв-
вая в себе подобное недомогание, после чего он

начинал вспоминать, что же он такое наговорил в течение дня.

Дело в том, что Пафос терпеть не мог, если кто-то говорит торжественно или велеречиво.

То есть он терпеть не мог ложный пафос.

И какая перед ним разновидность пафоса, ложная или натуральная, — это, извините, тоже решал только он сам.

А потом он делал так: опля! — и бедняга на сегодня свободен.

«Злобный заморыш!» — говорил в таких случаях Зевс, но ничего не мог поделать.

Зевс не мог отменить свой собственный дар.

Ведь именно он наградил Пафоса подобной способностью, потому как громы и молнии — дело хорошее, но всегда хочется чего-то не совсем обычного.

А хотите необычного — получите.

Причем закон распространялся на всех, в том числе и на Зевса (Зевс в этих делах был известный демократ).

Все это пришло мне на ум, когда ночью позвонил мой давнишний приятель, а ныне министр, скажем, культуры.

(Слово, конечно, другое, но «культура» мне как-то нравится.)

— Саня, у меня нет эрекции!

Мои приятели считают меня чем-то вроде медика.

Я посмотрел на часы — было четверть первого.

Вообще-то слово «эрекция» не из лексикона моего министра. То есть дело сложное.

— Давно?

— Со вчерашнего дня.

И тут меня осенило.

— А ты случайно не говорил где-нибудь таких слов, как «святая святых», «долг», «честь», «интересы государства», «нравственные критерии»?

— Говорил.

И я ему рассказал историю с Пафосом.

— Быть не может!

— Может. Это вас услышал Пафос. У нас на Олимпе такое бывает. Особенно если с трибуны сказал слово «нравственность». Сказал — потом баня, бабы, скатился по лестнице, головой о дверь — лишился ума. Сплошь и рядом.

— Иди ты...

— А как же.

— Что делать?

— Сходи в тюрьму.

— Куда?

— А что такое? Что в этом необычного?

Сходишь, посмотришь, как там люди живут.

И, вы знаете, отправился он в тюрьму.

Честно говоря, я пошутил, но приятель у меня министр культуры, а там шуток не понимают.

Но все обошлось. Сходил. Увидел несовершенство нашей судебной системы и даже выступил где-то как яростный защитник грядущего, обличитель и все такое.

И, вы знаете, вернулась эрекция.

Как мне давали премию

Это рассказ о том, как мне давали премию. Мне ее часто давали. Вернее, хотели дать. Подавали документы множество раз и все время говорили: «Принесите пять экземпляров ваших книг». Я покупал и нес. И все без толку. И экземпляры не возвращали. А на Антибукера когда подавали, то я там занял второе место (без денег), и мне потом звонили и говорили, что если бы все члены жюри успели бы прочитать мою книгу, то у меня было бы первое место (с деньгами). То есть члены жюри не всегда читают. После этого я перестал им давать бесплатные экземпляры. Звонят и говорят: «Вам повезло. Вы почти уже выиграли, но нужны бесплатные экземпляры», — на что я им говорю, что рад безумно, а что касается экземпляров, то надо сходить в Дом книги на Невском и там купить, и после этого они у них сразу появятся и никак иначе, на что мне отвечали, что, несмотря на мое такое отвратительное отношение к ним и их пре-

мии, они все равно меня подадут, на что я им замечал, что и хрен с ним.

А тут меня все тот же Дом книги решил наградить: тетки меня там очень любят, потому что продали моих книг неведомо какую кучу. И вот они решили мне дать премию в 5000 рублей — так сказать, «приз зрительских симпатий», но они захотели это сделать официально, через здешний ПЕН-клуб.

То бишь они дают деньги, а ПЕН организует что-то вроде конкурса, и на нем, всем понятно, побеждаю я — и мне дают. Вот такая организация, тем более что ПЕН всеми своими кудрявыми писательскими головами кивнул, и даже день назначили, о чем девушки из Дома книги мне прозрачно намекнули: мол, мы тут кое-что задумали насчет вас, сами скоро все узнаете.

И из ПЕНа позвонили и спросили, как мне все это глядится, если я буду в конкурсе, а я им заявил, что бесплатных экземпляров все равно не дам, так что гляжу я на все это с небывалым весельем. «Но вы все-таки придете?» — спросили они, и я сказал, что обязательно, разве только помещает этому делу визит в Швецию по приглашению шведского короля.

И наступил этот день. Я не пошел, естественно. Позвонил туда и измененным старческим голосом сказал, что им звонит бабушка Покровского, великого и ужасного, с тем чтоб сказать, что ее внука пригласил-таки шведский король Густав (порядковый номер такой-то), так и раз так, хвостатые помидоры. А они сказали, что им жаль. А я

А. Покровский

с помощью собственной бабушки сказал, что они не представляют, как ей жаль, после чего мы повесились на обоих концах — трубки положили.

Тетки из Дома книги мне потом рассказывали. Пришли они и сели в первых рядах. И встал Попов Валерий и произнес речь, в которой хвалил меня ужасно, говорил, что я явление и все прочее, а тетки расчувствовались, и все было хорошо, пока слово для оглашения не предоставили жюри. Вышло жюри, от времени кудлатое, тряхнуло головой и сказало, что в данном конкурсе победил... писатель Мелихов. Тот тут же вскочил и начал говорить, что спасибо всем и что он не ожидал.

Да, мама дорогая, выходит, единственный, кто все это ожидал, был я.

Я очень долго смеялся. А тетки, смущенные, мне говорили, что они не понимают, почему так получилось, на что я отвечал, что понимаю: все дело в том, что Валерий Попов совершенно прав, называя меня явлением. Я — действительно явление. А как явлению дать премию? Вот, например, гроза — тоже явление, и как ей что-то давать?

Да ей плевать, что б ты ей ни дал.

По-моему, я теток успокоил.

А в ПЕНе говорили: «Жаль, что Покровский в командировке», — и тут я с ними абсолютно согласен: действительно жаль, хвостатые помидоры.

Как я сдавал анализы

Я уже сдавал много раз, но тут потребовалось освежить. Меня в госпиталь должны положить, и анализы им совершенно необходимы. Была, конечно, возможность воспользоваться старыми, и меня даже спросили, не шалил ли я летом, на что я ответил, что не шалил, но потом все равно отправили.

Это меня от пародонтоза спасают.

В прошлый раз меня тоже спасали, только я не дотерпел. То есть лег, а потом сбежал, потому что уж очень долго меня там мурыжили. Я придумал себе командировку в Испанию ко двору испанского короля и слинял.

Только появился — и профессор Черныш меня взял за хобот.

А это очень серьезно, потому что Владимир Федорович Черныш — серьезный человек, не то что я, балаболка, — и он если мимо тебя проходит, то непременно затянет на кресло и во рту все отскоблит.

Так что — вперед, за анализами.

Мне даже выдали бумажку, по которой я утром, не жрамши, должен был очутиться в поликлинике Академии на улице Лебедева.

Мне даже сказали, чтоб я в баночку написал, чтобы через весь город не ехать к ним писать, что я и сделал, а на баночку надел крышку и положил в пакет — а то мало ли что.

И вот я уже в поликлинике с баночкой, в которой угадывается моча и которую никуда не спрятать.

Помню, как мы сдавали это дело на флоте, когда утром надо было почему-то бежать через весь поселок, а потом с горы, а потом опять в гору и вот уже спецполиклиника, куда ворвался с мороза и — где тут наша баночка? — и нассал в нее с пенкой. (И почему надо было бежать, а нельзя было дома нацедить и притащить — одному Аллаху ведомо.)

И при этом проявлялись сразу два обстоятельства: во-первых, можно было не найти баночку — все уже разобрали и жди, пока новые вынесут; во-вторых, пока бежишь, может так прихватить, что мочи никакой нет, и думаешь: а не отлить ли немножечко по дороге, а то ведь так и пузырь надорвать можно, отлил — побежал дальше, прибежал — не идет, вернее, идет, но мало — только дно покрыл, и это никуда не годится, а тут глядишь — на тележке много полных баночек и под ними на бумажке фамилии славных, тех, с указанием звания и должности, кто в них сегодня натруился, выбираешь знакомого: хороший человек, и анализы у него должны быть ничего — отлил от него и только собрался ее водрузить на

телегу, как врывается еще один орел с твоего экипажа, молча отбирает у тебя твою мочу, отливает себе, оценивает на свет, разбавляет водой из-под крана, еще раз оценивает и потом уже, довольный, замечает: «Чего-то, блин, с утра совершенно не ссалось!» — и ставит все это в общий ряд.

И никогда ничего не случилось. У всех моча была кислая. Даже у тех, что водой разбавляли.

А в этом случае — тут я опять возвращаюсь в Академию — я с мочой иду на кровь из вены, потому что там очередь, и из-за мочи я могу не успеть, а чего ее сдавать, если я и так нассал.

Но в очереди на кровь из вены — вот где конвейер: «Кто следующий? Проходите!» — я начинаю понимать, что в моей бумажке даже имени моего нет, там просто перечень анализов.

А фамилию мне впишут после того, как я побываю в регистратуре, где возьму направление к терапевту, который мне даст направление на анализы, а без него совершенно зря я, можно сказать, ссал на сегодня.

И я отправился к терапевту через регистратуру вместе с мочой, которую я хотел, конечно, оставить на подоконнике, но не решился — еще выльют в цветок.

У терапевта была очередь на полтора часа, и она на месте не сидела, выходила и пропала, и я в нее встал.

К этому времени до меня начало доходить, что все эти путешествия в обществе собственных утренних выделений как-то не очень смотрятся со стороны, и я принялся коситься на соседей, а они

на меня, и, наконец, один дед не выдерживает, спрашивает: «Моча?» — и получает в ответ: «Да».

После этого он рассказывает историю о том, как ему делали операцию на глаз и пережали что-то так, что он три дня не ссал, после чего ему делали уже операцию не на глаз, а на мочевого канал, для чего в него вставили трубочку, в которой была еще одна трубочка с ниппелем на конце, через которую надо было продуть проход, а медсестра продула не через ту трубочку, отчего разлетелся на куски ниппель, и все они попали в мочевого пузырь и там уже обросли колючими солями, для извлечения которых пришлось вскрывать все поперек.

После этого я не стал сдавать анализы. Я вылил мочу и пошел к Жене.

Женя — гениальный хирург и начальник отделения акушерства и гинекологии.

Кроме того, он мой друг и, если б я был бабой, то Женя мне бы по старой дружбе давно все отрезал.

— Женя, — сказал я, — не дарил ли я тебе свое последнее произведение?

— Нет, — говорит Женя.

— Сейчас подарю, а ты возьми у меня анализы.

И мы с ним тут же договорились на завтра. Я только спросил:

— Мочу привозить с собой, или же мы тут с аппетитом нассым?

— Лучше с собой, — сказал Женя.

Так что я утром опять наполнил баночку.

Без позвоночника

Сергею позвонил в ночь перед Амстердамом. Нам с Колей лететь в Амстердам в пять утра, а в десять вечера от него звонок: «Летите?»

С Сергеем надо быть настороже. Надо быть очень внимательным. Потому что Серега любит две вещи: балет и соединять людей друг с другом.

Личность он великая, поэтому никакая осторожность не помешает.

Однажды я увидел его с лопатой в электричке. Он ехал копать огород своим дальним родственникам. Серега любит помогать родственникам, такой у него загиб души. Он как-то купил этим старичкам цыплят-броллеров. И для них начался кошмар. Броллеры сожрали все в округе на две мили. Старички боялись выходить из дома, потому что эти твари их клевали.

И еще они гоняли кошку по двору, тщетно пытаясь ее на части порвать.

И потом они научились летать: вся стая моментально поднималась на крыло. В полете

они напоминали гусей-лебедей из сказки. Они летали на соседние поля. Зимой они улетели в лес и там перезимовали, а весной вернулось только два – некоторые полегли под пулями охотников на кабанов.

А еще Серега любил цветы. У него был участок, на котором он решил посадить только цветы. Пошел на рынок и купил мешок семян. Спросил еще: ничего другое не будет расти? И ему сказали, что все другое немедленно сдохнет во имя этой красоты.

Он и посеял.

Через месяц к нему постучалась милиция. Милиция взяла Серегу под руку, а он взял косу и вместе они отправились на участок.

Оказалось, что он весь огород засеял маком и у него на участке живут наркоманы семьями, отчего соседи жалуются на их заунывное полночное пение.

Серегу заставили косить урожай.

Любовь к растениям его подвела еще раз. У него были знакомые в Голландии, и он туда регулярно мотался.

А другие знакомые, уже в Питере, попросили его привезти из Голландии какое-нибудь необычное растение. И он привез. Нечто корявое.

Те посадили пришельца на отдельную грядку и полили его навозом.

И вырос банан. Метра на три. Он просто обрадовался, что его навозом полили.

Они потом звонили Сереге и спрашивали, какую часть этого растения можно употреблять

в пищу, потому что они ели все: и листья, и ствол, и корни — все горчит.

«Секундочка, узнаю!» — сказал Серега и позвонил в Голландию.

Оказалось, что его вообще есть нельзя. Оказалось, это особая ядовитая разновидность пырея, которая сажается в каналы для того, чтобы там не росла ряска.

Все это я помнил, но еще Серега мог позвонить приятелю Диме и начать говорить о том, что в последнее время принято принимать в гости людей из-за рубежа, что никуда не деться и все цивилизованные страны так живут. Вместе они посетовали на то, что это вносит некоторое неудобство в мирозерцание — не без того, — но все-таки пользы от этого становится все больше, поскольку увеличивается доля добра...

Через неделю он позвонил Диме: «Твои голландцы едут!» — «Какие голландцы?» — «Ну ты же сам говорил о том, что хорошо, что теперь люди едут, как в движении “Врачи без границ”».

В общем, любил он людей соединять. Ему казалось, что всем им именно этого и не хватает.

Вот почему я насторожился.

— Не волнуйся, — сказал Серега своим тонким интеллигентным голосом, — там только книги надо будет передать.

Я его еще пять раз переспросил насчет количества книг. Я же Серегу знаю: не переспросишь — будет коробка от телевизора.

Но он меня успокоил: всего две.

И вот мы в пять утра в аэропорту. И Серега, надо же, там же, и вручает он мне две книги и ... Наташу.

Оказывается, существовала в Питере Наташа, а потом она вышла замуж в Голландию, а теперь она приехала в Питер на операцию позвоночника, и после нее она головку не держит и вообще извивается в руках, как змея, потому как операция свежая, но там мы ее отдадим с рук на руки, а вот и мама ее, которая тоже полетит.

Мама была одета в солдатский треух, и такое было впечатление, что у Наташи удалили позвоночник, а у ее мамы — ум.

И со всем этим мы должны были пройти через таможеню.

Я боялся, что Коля сейчас чего-то скажет. Он может ни с того ни с сего послать Наташу на хер, несмотря на то, что читает лекции в Сорбонне о развитии человеколюбия у аборигенов Антильских островов.

Но этого не случилось. Коля сказал такие слова, как «милосердие», «сострадание», после чего он пошел на регистрацию, а я схватил наш багаж, отвязанную Наташу и ее треххую маму и помчался вслед за ним.

Таможенники всегда очень тщательно проверяют Колю. Он ростом метр девяносто пять, и им всем кажется, что у него много незадекларированных долларов.

— Это все ваши деньги? — обычно спрашивает таможенник.

— А вам-то что? — говорит обычно Коля, после чего его ставят к стенке и раздевают.

Но у нас на руках Наташа, отдельно в авоське ее хребет и мама.

Я надеялся на Колино благоразумие. И я не ошибся — мы проскочили таможеню, зарегистрировали Колю, меня, маму, Наташу и побежали на паспортный контроль.

Очень сложно было держать Наташе голову, мечтавшую отломиться, так, чтоб таможенница провела идентификацию ее и фотографии.

Наконец, это случилось, и мы побежали в самолет. Вернее, Коля пошел, задумчиво пописывая в блокнотик всякие слова для натурализации впечатлений, а я все слова сказал вслух, схватил Наташу и мать ее и домчал их до самолетных кресел.

В самолете я выпил чудовищное количество вина. Мне пообещали, что в Амстердаме нас будет ждать муж, а у трапа — коляска «скорой помощи».

Как мы прилетели, я не помню. Помню, что выгружался я с весельем, после чего потерял Колю и маму.

Мне осталась только Наташа, которую действительно усадили, в коляску и она заговорила по-голландски, после чего все уставились на меня как на родственника.

Еще несколько минут мы ехали в сторону санитарного пункта, и меня подмывало пнуть коляску, чтоб она двигалась быстрее.

Там Наташе сделали хорошо и покатали к выходу.

На паспортном контроле стояла мама. Она совала полицейскому, который ради этого случая даже вышел из своей конуры, свой паспорт.

У нее было штук пять паспортов, и только один из них был иностранный.

Я так понял, что у них ритуал: полицейский открывает ее паспорт, выясняет, что он русский, и возвращает его ей, отдав честь. Она, приняв паспорт, тасует его с остальными четырьмя, вытягивает назад и опять ему протягивает — он отдает честь.

После этого все повторяется.

Я с ходу все это уразумел, на повороте Наташиной коляски вырвал у ее мамы все паспорта, нашел нужный, отдал полицейскому, потом подхватил Наташу, уложенную в четыре раза, коляску, маму и помчался со всем этим в объятья голландского мужа, а то мне еще Колю искать.

Фу! Мать ее, Наташину, еб! Вот мне стало хорошо, когда всем вручили всех: маму, Наташу, коляску, хребет!

После этого я вспомнил Серегу и его страсть всех людей соединять.

Храп

Тетушка Глафира — маленькое, пухлое существо, в движениях и мыслях скорее плавное.

Ее муж, Егор Палыч Колабеда, — огромный, основательный мужчина, и во всем у них лад, союз и понимание, за исключением одного: Егор Палыч храпит.

И храпит он по ночам так, что кошки у соседей вздрагивают.

Уж что только тетушка Глафира не делала: и причмокивала, и попихивала, и палец на правой его ноге зажимала, и нос, и тормошила, и святой водой поливала — все без толку!

Храпит, дьявол, прости Господи, в любом положении и на все эти действия со стороны маломерной тетушки мало внимания полагает; будто труба какая-то, всхлипывает, взбулькивает, заводит-заводит неторопливое свое мутобденье, а потом вдруг как разверзнется, словно перепонка лопнула, и хлынут звуки превеликие — и пошли-поехали, точно орда по степи и с ведрами, а потом

оборвет, замолчит, но вдруг снова так рюхнется, тюкнется пару раз, точно башмак с табурета, и опять заведет свою тонкую жалобу, засюсюкает, забормочет с иком в середине, а то и вовсе ни с того ни с сего грянет во всю ивановскую, как корабль, что переваливается на скалах после пробоины с борта на борт.

А тетушка терпи.

И вот прочитала она в одном печатном издании, что, мол, если у вас такая беда, то лучше всего ночью, чуть он на спине оказался, одеяльце с него сдернуть, ноги ему раздвинуть, чтоб клубни упали и поддувало закрыли, и храп от потери, то есть от перекрытия этого естественного отверстия, немедленно прекратится.

Готовилась к испытанию она недолго. В ту же ночь только он на спину перекатился и ворчанье свое заимел, как она скоренько скинула с него одеяло и ноги ему — дерг! — в разные стороны, а сама от любопытства наклонилась посмотреть, упали ли клубни в нужном направлении.

И тут Егор Палыч очнулся. Может, единственный раз в жизни.

Вот у него было выражение лица, когда он увидел жену, с которой шестьдесят лет, орудующую между ног, — не описать!

О вечном

Я не знаю, сколько еще есть историй о курсанте, девушке и унитазах.

Я не знаю, почему если в повести о любви говорится о курсанте и девушке, то там же найдется местечко и для этого белого друга всего человечества.

И сколько я слышал такого: он вошел к ней и сразу же в туалет, а там на унитаз взобрался орлом, то есть с ногами, и развалил его до основания, а потом полчаса клеил замечательным клеем «Момент».

Зачем это? Как это? Что это? Кто это придумал? Почему всегда так?

Нет! Мне хочется поставить точку.

Друзья! Давайте поставим точку! Давайте изложим еще одну историю — и на этом все, все, все.

Был, видите ли, курсант, и была девушка, которая его хотела.

А он не то чтобы совсем не хотел. Хотел, наверное, но все-таки испытывал при этом некоторое очевидное кишечное неудобство.

И был теплый летний вечер, и гуляли они вместе с этим его неудобством совсем рядом с ее жилищем.

И говорит она ему: «А пойдём ко мне в жилище, у меня родители на дачу уехали», — и он соглашается, потому что по сути становятся слишком явны все эти всплески бурления.

Только входят они, как она говорит: «Я сейчас», — и исчезает в совмещенном узле, а он бродит под дверью и мается вместе со всплесками, а она моется, моется яростно и невыносимо.

И вот в глазах его темнеет, круги, и он бросается в спальню, пробегает до окна, с треском распахивает его и, скрипя, охая, ахая, тихая, мыхая, всячески изнывая, срывает штаны до щиколоток, с поразительным проворством лезет жопой на подоконник, а потом, ерзая, не забывая стонать, двигается ею же в открытое окно и там уже звучно и основательно плещет с третьего этажа.

И тут входит она, зажигая свет.

Она — мытая, голая, он — с жопой на окне и ее родители на семейной кровати, поджав ноги и закусив одеяло, онемевшие, мимо которых в темноте что-то такое промчалось, круглое, с охами к окну, распахнуло и дрестануло.

Они, оказывается, не уехали на дачу.

И правильно, чтоб такое увидеть, я бы тоже никуда не поехал.

Истинное любопытство

Тетушка Глафира необычайно чувствительна: чуть случится с кем беда — сейчас же в страдание и слезы, и при этом она любопытна, что твой суслик: если где видит чего, так уж только держись — обязательно изучит и пальчиком пропихнет.

Одно время занимал ее рот Егор Палыча. Очень. Сама не своя ходила всякий раз, как случилось ему зевнуть. Он зевнет, а она вся туда, и взглядом оглаживает трепетное небо и язык, и за языком такая штучка, очень маленький сводик, что гортань прикрывает, и такое все человеческое, что просто беда.

Очень хотелось ей это потрогать и пальчиком пропихнуть. Все никак, да и смущение, известное дело, а как же, разве только чуть-чуть, очень скоренько туда и тотчас же оттуда.

Зевнул Егор Палыч. Во весь свой зев. С раскатом: «Ха-ху-аха!» Тут-то она и не удержалась, так и юркнула к нему через весь стол, сунула палец

А. Покровский

глубоко и потрогала и будто божье успокоение, я не знаю, истинный крест, как водицы в жару испила.

А он поперхнулся — вот ведь напасть, царица небесная! Да так долго и сильно: весь красный, и глаза повываливались.

«Скорую» вызывали.

А они как приехали и к жизни его повернули, так и начали расспрашивать, что да почему.

Вот она им про свою страсть и рассказала.

А они как заржали!

Ну вылитые кони, царица небесная!

А тетушке Глафире — слезы, потому как чувствительна она.

Сова и Баллон

Про Сову я вам сто раз рассказывал. Он у нас ракетчик. Командир БЧ-2. Ну и любит он всякие приключения, что совершенно нормально. Вот иду я утром на службу. Мороз. Холодно. Решил я пробежаться. Бегу — вижу, Сова впереди шлепает. А сам Сова маленький и полненький. Я добегаю до него и говорю ему: «Бежим!» — и он, ни слова мне в ответ, побежал рядом.

А этим утром как раз планировалась внезапная тревога. Всех оповестили, и все ждали, но не дождались, так как тревогу не объявили.

Тревогу не объявили, но чувство тревоги у всех внутри осталось. Увидели некоторые по дороге, что два орла в шинелях бегут, и сработало у них внутри затаенное чувство — следом за нами побежали, а за ними еще и еще, и вот уже, разгораясь, мимо нас проносятся в объятых снежной пыли самые ретивые, и мы, имея их перед глазами, начинаем сомневаться, мы ли все это сдуру затеяли, или тревогу нам все-таки объявили.

— Со!.. ва! — говорю я ему.

— Ну? — говорит он.

— Чего мы бежим?

— Так тревога же!

И тут я начинаю понимать, что Сова, когда я ему крикнул: «Бежим!» — на полном серьезе подумал, что вот оно, началось.

— Да ты что, Сова?! — говорю я ему, продолжая бежать. — Это ж я просто так тебе сказал, чтоб согреться!

— Согрелся? — спрашивает Сова.

— Согрелся.

— А теперь посмотри, сколько ты еще вокруг людей согрел.

И я посмотрел — ох и много их было!

Жил Сова на корабле в пятом отсеке. Там отдельная каюта командира БЧ-2. Захожу я к нему, а он стоит на койке раком с голым задом в направлении двери.

— Ты кто? — говорит мне Сова, не поворачивая в мою сторону головы. Смотрит он перед собой.

Я себя называю.

— А где старпом?

— Какой старпом?

— Ну, наш старпом сюда сейчас должен был зайти.

— Это ты для старпома свою жопу приготовил?

— А для кого же? Он мне только что позвонил и сказал, что сейчас меня накажет. Я сказал: «Есть!» — и теперь жду. Минут двадцать так стою.

Сове вечно спирт на регламент не выдавали. Зажимали, потому что на носу проверка штабом флота и на ракетный спирт командир давно лапу наложил.

А у Совы на регламент должно пойти спирту вагон — фляги, канистры, ведра, баллоны.

На докладе Сова говорил, что к регламенту не готов, потому что спирта нет.

— Как это не готов?! — говорил командир и заставлял Сову рисовать схемы расходования спирта в подразделении.

А на этот спирт уже вся ракетная боевая часть бидон слюней напасла.

Да и флагманские в стороне не стояли.

Сова заложил командира по всем статьям, и ему с самого утра регламентных проверок ракетного оружия звонили все, кому не лень: флагманские, начальник штаба, ракетная база.

Даже крановщик позвонил. Не знаю, при чем здесь крановщик, но он позвонил на борт, наткнулся на командира в центральном и спросил его, не знает ли он, выдали ли Сове спирт.

Командир после этого минут пять ревом ревел, потом вызвал Сову и сказал ему, что сейчас он ему спирт выдать не может, на что Сова спокойно заметил, что сейчас он займет ведро спирта у соседей, но вечером ему надо будет его отдать.

И вот картина: вся боевая часть два стоит на ракетной палубе у открытой крышки шахты, в середине стоит Сова, перед ним — ведро, в ведре — вода, куда Сова для запаха вылил бутылку венгерского вермута — за метр чувствуется.

Сова берет какую-то железку, бросает ее в ведро, полощет там, а потом достает.

Мимо по пирсу идет командир.

— Совенко! — кричит командир. — Что вы там делаете?

— Регламент, товарищ командир! — отважно кричит Сова, уверенный в том, что ни один командир, если он, конечно, не из ракетчиков, не знает, что такое регламент.

— А почему сам?

— Не могу доверить спирт личному составу!

После этого командир говорит, чтоб он зашел к нему за спиртом, а Сова командиру группы, кивая на ведро:

— Вылей, помои. Сейчас нам свеженького дадут.

Только один человек на корабле не любил Сову. Это был командир третьего дивизиона, по кличке Баллон.

Почему такая кличка? Потому что конфигурацией туловища он походил на баллон говна, который состоял у него в заведовании.

Баллон никогда не мылся, и от него исходил запах дохлятины.

— Чем от вас пахнет? — говорил Сова себе под нос, проходя мимо; а в хорошем расположении духа, в море, при смене Баллона с вахты в центральном, Сова мог внезапно его обнять с криком: «Ой, какой миленький!»

На что Баллон в ужасе начинал освобождаться от Совиных объятий, причитая: «Прекратите! Прекратите!»

А после смены с вахты Сова отправлялся в душ — и это при повсеместной экономии пресной воды, при борьбе за эту экономию и развернутом за эту борьбу соцсоревновании.

Сова в трусах и шлепанцах с полотенцем на шее спускался по трапу и, подходя к душевой, вызывал по каштану центральный, и когда в него Баллон отвечал: «Есть!» — говорил с потягушенькой: «Бал-лон-чик!!!» — «Что?! Кто это? Кто у каштана?!» — «Это я». — «Кто? Кто я?» — «Смерть твоя!» — шептал в каштан Сова и, счастливый, отправлялся в душ.

Комбатовка

В комбатовке под плакатом «НЕ КУРИТЬ!» сидел комбат второй батареи Костя Перегудов и курил.

Ясно, что плакат висит не для того, чтобы не курили. А для того, чтобы комбату всегда было за что выдрать взводного, а комдиву — комбата.

Наличие или отсутствие плаката ничего не меняло во взаимоотношениях начальников и подчиненных, поэтому в комбатовке курили все.

Пепел Костя стряхивал в специальную пивную бутылку.

До совещания у командира дивизиона было еще пятнадцать минут, и товарищи офицеры привычно расслаблялись перед поркой. В эти сладкие минуты каждый думал о чем-то близком и далеком одновременно. О том, что непременно находилось за забором части. По распорядку дня рабочий день после совещания заканчивался.

В действительности же после совещания наступало самое горячее время суток, когда нуж-

но не только «устранять недостатки» (что само по себе не занимает много времени), но и «представлять результаты» и, наконец-то, опять «устранять» — словом, говно, а не жизнь.

Думать об этом не хотелось.

Затолкав в бутылку то, что уже не раскуривалось, Костя посмотрел по сторонам. Посылать до мусорного бака лейтенанта не хотелось. Могут не понять. Звать дневального - можно привлечь внимание кого-нибудь из начальства.

Всему свое время.

Взгляд Кости остановила на себе открытая форточка кабинета дивизионного командира, под которой сидел тоже командир, но первой батареи, Саня Ляхов.

— Спорим, — сказал Костя, — что я попаду вот этой бутылкой в форточку?

Лейтенанты притихли.

Саня оторвался от ведомости и посмотрел через всю комбатовку на Костю, на бутылку, потом на форточку.

— Не попадешь, — было его резюме.

Лейтенанты приуныли. Им было совершенно ясно, что слюнявые брызги комдива им сегодня гарантированы.

Комбатам, у которых в их неполные тридцать лет было уже четыре войны на двоих, на командирские слюни было совершенно начхать. Пари их уже поглотило полностью, а о последствиях они думать не привыкли.

— Ставлю ящик пива, нет, два ящика, — сказал Саня, — что не попадешь.

Такая мелочь, как стекло, никого не волновала.

Костя залепил горлышко бутылки жвачкой, чтоб она, пролетая над лежбищем, не орошала головы собравшихся свежим пеплом. Сделал ленивый замах рукой с бутылкой... и метнул!

Слабые зажмурились.

Воображение рисовало страшные картины: стекло, дребезги.

Но!

Бутылка не может так долго лететь!

Смелые открыли на пробу левый глаз и осмотрелись. Те же лица.

Бутылки нигде не видать. Костя с ошалевшим видом вперился взглядом в открытую форточку. До него стало доходить. Сначала ему самому было интересно: попадет или нет, но на успех он не рассчитывал.

Попал. Прямо через форточку на стол комдиву. Бутылка развалилась, и охнарики разбежались, как тараканы.

Теперь можно было орать.

— ОФИЦЕРОВ!!! В ШТААААБ!!! — заорал комдив.

Урология

Тетушка Глафира и ее муж, Егор Палыч Колабеда, приходится мне соседями. Одно наслаждение наблюдать за тем, как они украшают свою жизнь.

Правда, Егор Палыч, человек размеров куда как внушительных, не очень-то подвергает себя всякого рода колебаниям, зато тетушка Глафира хлопочет за двоих. У них всегда пахнет вкусным снадобьем: борщом или же шкварками, а на окнах чистота, занавесочки с вышитыми колокольчиками и герань — она сейчас же цветет, и монстера, и колонхое — все пребывает в радости и покое, и все бы хорошо, если б только тетушка не слушала радио.

Ох уж это радио, одно наказание. Егор Палыч всегда вздыхает, когда оно вторгается в его жизнь, но тетушка слушает диктора с вниманием, достойным архангела Гавриила, особенно если дело касается погоды или рецептов кулинарии. И объявления она тоже слушает, а как же. А тут из

него сообщили, что хорошо бы к восьмидесяти годам оформить себе инвалидность.

Ну да! Здоровьем Господь не обидел, но лучше бы и про запас что-то иметь. А то ведь, не ровен час, вдруг чего, так уж будьте любезны. Опять-таки льготы. Может, не сейчас, Господи, какие там льготы, одно недоуменье, так уж, может, и после.

А как придешь за ними, а тебе и вопрос: «А вы инвалид?» — а тут можно оформить бесплатно. Когда еще будет бесплатно-то, а тут и пожалуйста — и документ, и штамп, и печать. Так что отправились, хотя поначалу Егор Палыч, по обыкновению своему, только молчал да и смотрел на тетушку, как на дитя неразумное, но после и он, слышь ты, проникся, как в поликлинику поднялись. Говорит: «Может, уши проверят. Что-то у меня с ними плохо!»

И, конечно, проверят. Чего не проверить. В регистратуру встали. За номерком. К отоларингологу. Тетушка Глафира только на минуточку отошла: знакомую увидела — как не спросить о детях.

А Егор Палыч номерок взял — только врача перепутал, пока стоял. Оно и понятно, волновался, все же сколько сюда не ходил, даже горлом дышал, не носом. «Мне, — говорит, — к урологу», — ему номерок, кабинет рядом. Он только на тетушку глянул, она как раз о внуках расспрашивала и ему кивнула: мол, иди — он и пошел.

«Дочка! — сказал он врачихе. — Я насчет инвалидности. С ухом чего-то». — «С ухом в другой кабинет, — сказала «дочка», — а теперь снимайте штаны».

«И как засунет мне палец в жо...» — возмущался, уже выходя, Егор Палыч, делая огромные глаза, а рядом семенила и поддакивала тетушка Глафира.

А инвалидность им дали: а вдруг чего.

И дорогая...

Меня в штабе спросили: «В Питер хочешь?» — тут лодка должна была на праздник в Питер идти, и у них некомплект, — и я ответил: «Конечно, хочу!» — сейчас же побежал, переоделся, как человек, мотыльком на пирс, внутрь нырнул — и отвалили.

А в Питере хорошо!

Я люблю, когда хорошо. Тогда жизнь объять свои распахивает, хватает тебя, прижимает, и ты чувствуешь, что внутри у всего есть пульс.

И все это до першения в носоглотке... так... ну, в общем... здорово, одним словом, что там говорить.

Я и Петровичу тогда заметил: «Здорово, да?» А Петрович — это командир. Мы с ним немедленно, как только напротив Петропавловки утихомирились, в ресторане очутились.

Я и моргнуть не успел.

И женщины!

Конечно!

Эх! Вот когда мало женщин — это все-таки нехорошо!

А когда их много и все они такие кругленькие, симпампулечки, что ущипнуть невозможно, то это просто отлично.

Я люблю, когда кругленькие, и еще ручки у них такие пухленькие, потом щечки, носик и ножка в туфельке.

Вот чтоб она в туфельке обязательно была, и еще такая застежка или, как это сказать, чтоб она эту ножку охватывала. Вот!

А пахнет как от них, Господи! Как от них пахнет!

Я и Петровичу сказал, на что он, конечно, кивнул. Он вообще говорить не мастер, так что кивнул со слезой.

А тебя-то пробирает и внутри деревенеет. Ох, думаю, вот ведь пробирает, да еще деревенеет!

Ну что тут говорить: потом встать невозможно, если только с трудом.

А после мы по мосту с девками на такси ехали, и с нами один гражданский увязался. А я девкам со значением: «Песню знаете, где «дорогая не узнает, какой у парня был конец?» — и они как грянут: «И да-ара-хаааа-я не узна-аает...»

А мы как раз мимо нашей лодочки проезжаем, и тут гражданский оживает и изрекает:

«А вы знаете, что я на этой лодке командир!»

Петрович даже охуел, поворачивается ко мне и шепотом: «А я тогда кто?»

А уже в Балтийске я к штурману подхожу и на ухо ему тихо: «Подойди к командиру и скажи,

А. Покровский

что в Питере шел ночью по мосту, и вдруг машина, и из машины песня про «дорогую».

И он подошел.

А Петрович обрадовался, да как заорет:
«Во! Так это ж мы ехали!»

И засветился весь.

Да.

Люблю человеку сделать приятное.

По самые помидоры

Олег Смирнов служил на берегу — каждый день белая рубашка, галстук, казарма, бильярд.

А подводники рядом через трехметровый забор с колючей проволокой служили, и Олежку Смирнова — старшего лейтенанта службы радиационной безопасности — среди них никто в лицо не знал.

И это очень ценное обстоятельство. С точки зрения особого отдела, который постоянно озабочен проверкой чьей-то бдительности.

Подводники ведь служат как?

Пока не упадут.

А падают они в казарме на койку в двадцать три часа ровно вниз портретом. Как упали — сразу спят. И попробуй тут кого-нибудь в профиль изучить.

И настал час испытаний. Назывался он: «Учение береговых служб по противодействию противодиверсионным силам и средствам».

Объект для учебного нападения даже не выбирали, что само по себе совершенно естественно, — это были спящие в казарме подводники.

И напасть должен был он — Олег Смирнов, старший лейтенант службы радиационной безопасности, неизвестный в лицо.

Его вызвали в особый отдел и проинструктировали.

Инструктаж проводил заслуженный особист — бесноватый майор.

Через пять минут Олег понял, что надо ночью с двумя матросами перелезть через забор и заминировать все подъезды казарм, для чего ему дается мешок с взрывпакетами, детонаторы, шнур, электробатарея, прерыватель.

А холод, мамины уроды, мороз градусов в тридцать, ветер, поземка, и у забора снег три года не убирали.

Еле влезли на забор. Чуть на проволоке не повисли. Осторожно освободились от ее колючек, спустились и пошли казармы взрывать.

Три часа ночи, дует — жуткий мордодуй, как уже говорилось.

Для сокращения времени Олег решил все казармы не курочить, а расположить мешок с взрывчаткой в одном подъезде... в общем, они сложили все у двери, подсоединили и через десять минут уже стояли у забора, обращенные ожидательными рожами к казармам, и держали в руках небольшой такой рубильничек.

Ну, что, славяне, повернули?

И...

КАК ЕБАЛУЛО!!!

От испуга они немедленно оказались личностью к забору, а потом, не сговариваясь, с места взмыли вверх и — хоть бы кто за колючки задел! — приземлились медленно, будто время остановилось, помахивая лапами шинели (мохнатые ниндзя), в снег по горло.

И сейчас же вырыли в нем окопы (кроты, кроты), улепетывая в четыре руки каждый до своей собственной казармы.

Ночь, мороз, все казармы без стекол, и ручка от двери на сопке обнаружилась.

— Где этот мудак?! — орал заслуженный особист, бесноватый майор.

Олега нашли и вставили ему по самые помидоры.

Белая рубашка, галстук, бильярд...

Гоша

Гоша — волнистый зеленый попугай, мальчик, и живет он у соседей. «Я — мальчик!» — иногда ни с того ни с сего говорит Гоша, и еще он говорит кучу всяких слов.

Например, «Абра-кадабра!» и «Все это чушь собачья!».

Как он выуживает эти слова из окружающего информационного поля, неизвестно, а известно только то, что «Гоша хороший» от него полгода добивались.

И правильно, потому что Гоша — совершенная дрянь, а, значит, сказать, что он хороший, — погрешить против истины.

В доме он не дает слушать музыку, танцевать, садится на люстру и умудряется всех перерорать.

Любит он только одного человека — соседскую девочку Наташу, которой он, растекаясь от любовного чувства, каждое утро принимается расчесывать клювом брови, а если Наташа отпра-

ляется умываться, летит за ней, садится на раковину и пытается под струю воды подставить попеременно то одно, то другое крыло, а когда она начинает делать уроки, пристраивается рядом, стараясь ухватить шариковую ручку за самый шарик.

Если это ему удастся, ручка чертит в тетради прямую по диагонали.

Он обожает муку.

Если ее рассыпают на столе в надежде замесить из нее тесто, Гоша, тут как тут — немедленно пытается в ней искупаться.

Однажды он залетел за пирогом в горящую духовку и, обмахревший, вылетел из нее в один момент.

Кошек он не боится. Собак тоже. Как-то к ним зашла подружка Наташи с таксой Светой.

Гоша спикировал таксе на башку и клюнул ее, отчего такса чуть не рехнулась.

Однажды его потеряли, искали в квартире два часа, а он сидел на спине у Наташи, уцепившись за кофту лапами и клювом и распластав крылья — этакий одноглавый символ России.

И еще Гоша ко всем лезет в тарелки. Он и ко мне залез, когда меня пригласили на день рождения к Наташе.

Гоша непременно хотел склевать у меня весь рис. Я выставил вперед палец, желая отодвинуть нахальную птицу.

Мой палец уперся ему в грудку. Гоша растопырил лапы и расставил крылья, пытаюсь сохранить равновесие. При этом он верещал что-то возмущенно на смеси человеческого и попугаячьего язы-

ка. Получалось что-то вроде: «Че-ты-rrrr-всчи-кры-чи!»

Сильно я на него не давил, но попугай не отступил ни на шаг.

Я убрал палец и предложил мировую: «Я тебе рис отдельно на тарелку насыплю!»

Гоша косился на меня, но, казалось, все понимал. Я отделил на тарелке ложку риса и подвинул ее Гоше.

И тут он сказал слово «компромисс».

Все онемели. За столом установилась тишина. Слышно было только, как тюкает его клюв.

Расставались мы друзьями. Он даже сел мне на плечо и потребовал, чтоб я напоил его слюной.

Видите ли, друзья, в понимании Гоши, должны друг друга поить слюной. Я должен был, пожевав, ее приготовить, а он — влезть своим клювом ко мне в рот и напиться.

Я, косясь на Гошу на плече, сказал только: «Слушай, птичка, лети в свою клетку и пей там водичку», — на что попугай вдруг презрительно протянул: «Что-oooo?» — и тут же ко мне охладел.

Верность

— Верность... удивительное чувство... Верность к кому-либо или же к чему-либо... Оно ведь не просто так... Оно переполняет... Да-да-да... Непременно... Но сперва оно накапливается... Вот!.. Оно накапливается, а потом уже переполняет... Ну конечно!.. Чашу терпения... Именно... и изливается... Оно изливается... и это так естественно... на кого-либо или на что-либо... И как важно в эти минуты оказаться рядом... Чтоб и тебе досталось немного... от того потрясающего положения... когда избыток... готовящийся к истечению... наконец обретает все свойства дождя... подобного... — все это говорил нам Фома. Наш командир БЧ-5. Он стоял на пляже в Дивноморье летом, куда мы, единственный раз за десять лет, примчались всем экипажем после похода и сейчас же легли голова к голове, мужчина-женщина, муж и жена.

Мы легли, а он встал перед нами и заговорил:

— Верность!.. — сам-то он был одинок в трусах до колена.

Видите ли, с ним не поехала жена. И после похода она его тоже не встретила, и вот теперь в трусах у него шевелился огромный ком, который он поправлял невзначай, и все уставились на это уродство, соображая: неужели же воздержание способно привести к подобному увеличению или разбуханию...

— Верность! — еще раз воскликнул Фома с сумасшедшим отчаянием, потом он запустил руку себе в трусы и выдернул оттуда... шланг от противогаза...

Лапиков

Лапиков — балбес. Но с инициативой. Я его называю «Маэстро катастроф». А тут недавно про него сказали, что он человек отчаянной смелости, после чего я подумал, что смелость подобного рода бывает только у урода.

И главное, я всегда попадаюсь. Ну просто беда. Наваждение какое-то. Знаю ведь, что если Вовик Лапиков сказал, выпучив очи: «Я это могу!» — то будет взрыв, пожар и всякие погодные условия — смерч, например.

Тут мне нужно было колодец на огороде вырыть. Мирное, в общем-то, занятие.

«Я это могу!» — сказал мне Вова, и глаза его потемнели.

А я подумал: моря поблизости нет, подводных лодок нет, огня нет и складов с боеприпасом тоже. Может, обойдется.

А вдруг! А вдруг это то единственное, что он по-настоящему умеет?

Были у меня, конечно, сомнения, особенно когда я заглянул ему прямо в сумасшедшее зре-

ние, но они как-то рассеялись, видимо, от жары — действительно, степь же кругом, ничего не должно прилететь.

Вовик взялся за лопату и начал остервенело рыть. И так здорово! Залюбуешься.

И вот он уже в землю уходит и уходит, рождая во мне все-таки беспокойство, поскольку очень уж с чувством, хотя, в общем-то, чего там, и во все стороны летят с него капельки пота.

И вот уже голова скрылась. Здорово!

Здорово роет!

Ничего не скажешь.

И только я принялся думать, как все это здорово, и о том, что надо бы Вову на подобном рытье почаще использовать, привлекать и приглашать, как на глубине шесть метров он натолкнулся на мощную водоносную жилу.

Видели, как выбирается из ямы с водой лягушка, если ту яму начать засыпать?

Точно так же, молча, Вова пытался резво вскарабкаться по скользким глиняным стенам.

А потом его обалденной струей как подняло!

Пологорода залило, и через неделю источник иссяк.

А тут мне электричество надо было проводить. «Я это могу!» — пристал ко мне Вова.

— Вот! — сказал я ему и показал на свой собственный член. — Я тебя только от высоковольтного столба еще не отдираю. Будешь там висеть обгорелым кузнечиком.

Попутное

Понравилась запись на рукаве прошлого века: «Вместе со спермой в нее вливалось чувство юмора».

Смех — враг секса. Я вчера это выяснил, общаясь с женой. Если женщину смешить, то она уже ничего не хочет. Да и сам ты ничего не хочешь. Так что успешно размножаются только угрюмые люди. А веселые размножаются с великого отчаяния. Выпадают минуты такого отчаяния, и тут-то они своего не упускают. Уж будьте покойны. Взять хотя бы меня...

Будь я дамой преклонных годов, жил бы в доброй старой Англии.

Ухаживал бы за садом, подрезал розы, травку растил, беспокоился бы о том, как перезимовали крокусы и примулы, рассаживал флоксы, удобрял хризантемы. И все это в шляпке, в костюме для полевых работ, в перчатках. Потом в кафе

посудачить за чашечкой кофе с пирожным, поглядеть на мир через большое окно, сделать ему парочку замечаний.

Но увы! Я в России, и я мужик.

Недавно близкие мне сделали подарок. Они подарили трусы.

Я их случайно надел. Этот невод для гоннад доходит мне ровно до подмышек. А в тесных джинсах он скручивается и превращается в то, что я называю «тамбу-ламбу». Ты уже смеешься? Когда они на мне, из джинсов чего-то непрерывно выпирает.

Наблюдательные женщины интересуются: что это?

Я им говорю:

— Отгадайте! Мягкое, но не член.

Я все понял. Я должен организовать «Центр имени Меня» где-нибудь в Испании. Представь себе: просторный дом с садом, при входе в прохладные апартаменты мое огромное фото, радостное и смеющееся, и во всех помещениях музыка, придуманная моим пятнадцатилетним отпрыском во славу папы; потом, конечно же, в каждой комнате фрагменты одежды (часы, трусы) и бюсты с различным выражением лица; под каждым бюстом отдельная надпись. (Вот они, эти надписи: «Дивный», «Блистательный», «Непредсказуемый», «Невероятный», «Потрясающий основы», «Коллаборационный» и прочие.) Жена все время говорит по телефону, отвечая на вопросы о моем

творчестве, а сам я путешествую по Европе с лекциями о самом себе, как это до меня делал Конан Дойл.

Однажды Гете очень долго распинался насчет того, что управлять страной должны молодые. Старые глупы, капризны, трусливы, жадны, скарены, блудливы. В их порывах не хватает свежести, пылкости, авантюризма юности. Они тормозят развитие, а завистью к молодости способны вызвать к себе только лишь чувство гадливости. И потом кругом эта затхлость суждений, неспособность видеть себя со стороны, ханжество, пошлость, падкость на грубую лесть, угодничество и тупость.

Ему сказали: «Но вам же самому почти восемьдесят лет».

А он ответил: «Я — гений».

Я знаю, как я разбогатею. Я получу наследство. Представьте: умирает чувствительный, но очень богатый филантроп. Родственников у него нет.

И вот у смертного одра уже столпились адвокаты. Все ждут волю умирающего.

Вот она: плохо слушающиеся губы шепчут: «Отдайте... все... Пок... Пок... — Шум, шепот «Кому, кому!» — По... кр... ов... ск... ому».

То есть мне. Те же губы, напрягаясь из последних сил, четко доводят до окружающих мои паспортные данные, ИНН, адрес и номер пенсионного свидетельства. Все. Я богат.

В ту же ночь мне снится сон: я окружен ангелами, те что-то говорят о том, как было трудно

А. Покровский

уломать умирающего и что я, получив все, должен кое-что отдать на благо планеты. Я соглашусь, и мы подписываем договор золотым гусиным пером.

Проснулся. Планета от полученных средств расцветает, кругом дороги, электричество, счастье и прирост населения.

Казнокрады мрут от неизлечимой болезни, изобилие, лев ложится с ягненком — и никакого кровосмешительства.

Каково?!

СЫН

Мы с Сашей вышли из дома вместе. Сели в метро и поехали. Я смотрел ему в затылок и думал: вот он, мой сын, я так много хочу ему сказать, а все как-то не то. Мы едим, молчим. Он уже метр шестьдесят, наверное. Странно. Был такой маленький. А теперь меняется каждый день. Разве можно любить то, что меняется? Ведь получается, что ты любишь то, чего нет.

Он покрасил волосы. Теперь он рыжий. Я увидел и рассмеялся — он надулся.

Он на меня часто дуется. Иногда у нас крик и ссора.

Он не такой, как я. Ты рассчитываешь на одно, а в нем появляется другое. Непонятное.

К нему ходят девчонки. При встрече они целуются в губы. При расставании тоже. Меня это раздражает. Неужели я ревную? Да нет. Чушь. Ха! Я ревную? Хотя... может быть...

Мы обнимаемся. Я ему говорю: «Сын, давай обнимемся!» — и он меня обнимает. Это дос-

твляет обоим удовольствие. Мы любим обниматься. Иногда он обнимает сам. Правда, часто тогда, когда у него плохая отметка.

Или ему надо уйти погулять так, чтоб мама ничего не знала. Я отпускаю — он подводит, приходит не вовремя, мне бросаются упреки: «Вот! Ты его отпускаешь!» — я злюсь, даю себе слово, потом все сначала — он подходит и обнимает.

Наверное, я не отец, а тряпка.

Мой отец меня никогда не обнимал.

А мне так хотелось.

А потом он бросил нас — я был сам не свой. Наверное, где-то в особом счету у меня было записано количество обниманий, которые я так и недополучил.

Так что со своим я обнимаюсь. По каждому удобному случаю. Кажется, это ему тоже нравится. Или мне только кажется? Да нет — точно...

Перед сном он приходит поболтать.

Говорит какую-то ерунду про друзей, про песни, про певиц. Он с утра до вечера может слушать музыку и обсуждать.

А я ему: «Да... да... конечно...» — мне все равно, что он скажет. Наверное, в свои пятнадцать я тоже нес околесицу. Главное, что можно смотреть, как он улыбается, как загораются его глаза.

Хорошо, что он не пошел в Нахимовское. Я ему предложил, но он отказался. Он другой. И в этом он не виноват. Он мало читает.

Я объясняю ему, что чтение важно для развития внутренней речи, а без нее нет человека.

Такое впечатление, что говорю с забором.

Тогда я беру в руки мандельштамовский «Камень»: «... и в лазури почуяли мы ассирийские крылья стрекоз, переборы коленчатой тьмы...»

Когда я читаю, ему нравится.

Тогда буду читать ему я. Неважно. Пусть хоть так.

Мне нравится, что в метро мы стоим рядом. От станции к станции. Тесно. Много людей. Потом он выходит, не обернувшись.

А я ждал, что обернется? Может, и ждал, но так тоже ничего.

Письма

Мне пишут письма. Открываю, а там: «Саня! Тут мне только что рассказали историю. Слушай!

Служил в краях нехоженных на подводной лодке командир, который очень любил из ружья стрелять. Даже в дальние походы с собой винтовку брал. Ну мало ли, у берега всплывут. И какую дичь заметит с капитанского мостика, так всё пристрелить норовит. Видать, папа у него был мамин-сибиряк и белке в глаз бил. Надо сказать, что капитан этот стрелял очень даже неплохо. Так вот, всплыли они как-то у родного скалистого берега, не знаю уж по какой причине, но только заметил вдруг капитан со своего мостика, что на утесе олень стоит, да так красиво, гордый такой, одинокий, на фоне хмурого северного неба. Принесли кэпу винтовку, он тщательно прицелился, все свободные от вахты сбежались посмотреть на это представление, ставки делать стали, попадет или нет... Раздается выстрел, олень как подкошенный

падает с обрыва в воду — буль!.. за ним следом летят нарты и чукча...

Короткая немая сцена...

Наши действия? «Срочное погружение!!!!!!!»

А вот еще: «У одного знаменитого поэта и прозаика жила огромная черепаха, и по ночам он, вставая пописать, все время об нее спотыкался. И вот он решил ее пометить: нарисовал круг фосфоресцирующей краской и внутри надписал. И пришел к нему в гости другой поэт и прозаик — зачинатель национальной идеи. Напились они хуже свиней, а среди ночи приятель будит хозяина и говорит: «Я допился. У меня белая горячка. На меня сейчас светящийся круг напознал, внутри у него череп с костями и написано: «Хуй!»

Да! Чуть не забыл. По поводу последнего слова предыдущего рассказика.

На днях мой знакомый передал мне достаточно любопытный документ. Его приятель проходил практику в Ростовской военной прокуратуре и, просматривая уголовные (и не очень) дела, наткнулся на объяснительную записку некоего каноника Платонова Е. П. Суть же самого дела заключается в том, что означенный каноник в момент крайнего душевного волнения послал военного комиссара Ворошиловского района города Ростова-на-Дону гражданина Рожкова туда, куда обычно военных комиссаров не посылают. Тот обиделся, подал заявление и т. д., и т. п. Впрочем, сам

текст заявления каноника, который ниже приводится полностью, без изменений, сокращений и с сохранением всех фамилий, проиллюстрирует ситуацию гораздо ярче, нежели это смогу сделать я.

Итак:

«Римско-католическая церковь.

Ростовское-на-Дону собрание

христиан «Слово Божие»,

г. Ростов-на-Дону,

ул. Красноармейская, 126,

тел. 676923,

исх. № 43 от 11.12.99 г.

Слава Иисусу Христу!

Прокуратура Ворошиловского района

г. Ростова-на-Дону,

монсеньору Украинцеву В. Б.

Евгений Платонов по вразумлению Божьему заявляет:

Возрадуемся о Господе!

Уважаемый Вадим Борисович!

Поминая всех святых, ставлю Вас в известность, что слово «хуй» является общенародным и общеупотребимым обозначением мужского полового органа и применительно к обладателю такового — Рожкову — гражданину и комиссару, не имеет оскорбительного значения по целому ряду причин.

1. Рожков сам пользуется этим словом применительно хотя бы к собственному половому органу, этот солдафон слишком примитивен, чтобы называть «хуй» «пенисом».

2. Ни в слове «хуй», ни в самом мужском половом органе нет ничего оскорбительного.

2.1. У Бога тоже есть хуй! Общеизвестно, что первый человек — Адам — был сотворен по образу и подобию Божию, т. е. с хуем!

2.2. Хуй является инструментом во исполнение воли Божией: «Плодитесь и размножайтесь» (Бытие. 1,28). Сам-то Рожков, в отличие от Христа, непорочно зачатого, был зачат с помощью хуя!

3. Платонов использовал слово «хуй» применительно к направлению движения Рожкова, но не к самой личности комиссара, не называя его ни «хуем», ни какой-либо хуевой частью, к примеру, «залупой».

4. Само по себе «посылание на хуй» носило для Рожкова исключительно рекомендательный характер: Платонов не толкал комиссара в спину и не принуждал его иными способами к движению в указанном направлении.

4.1. К тому же «рекомендация к движению» имела самый общий характер и не несла в себе никакой конкретики: Рожков не был проинформирован, в направлении чьего именно полового органа ему следовало бы совершить движение, не был разработан для комиссара и план действий в конкретной точке маршрута.

5. Честь мундира должностного лица также осталась незапятнанной, поскольку Платонов не давал рекомендации к движению непременно строевым шагом (левой! левой!), при погонах и в служебное время. Нет, в указанном направлении можно выдвигаться в домашнем халате и тапочках.

6. Обращаю Ваше внимание на отсутствие законодательных и нормативных актов, квалифи-

цирующих слово «хуй» и его применение в указании маршрутов в качестве оскорбления и позволяющих проводить следственные мероприятия в отношении Евгения Платонова!

6.1. Мнение Рожкова о нанесении ему оскорбления чисто субъективно, не соответствует действительности и является следствием как скудоумия, так и морального уродства комиссара, порожденного отсутствием у него чувства юмора.

Поэтому римско-католическая церковь рекомендует Вам закрыть «дело Платонова» за отсутствием состава преступления. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.

С молитвою о Вашем добром здравии и служебном процветании

Милостью Божией,
Каноник Ростовского-на-Дону
Собрания христиан «Слово Божие»
Начальник канцелярии Е. П. Платонов».
Как тебе?»

А это письмо мне прислали как свидетельство очевидца недавнего облета русскими самолетами американского авианосца «Китти Хок» в Японском море.

Справка: это тот самый авианосец, который в свое время насадил себе на нос нашу подводную лодку 671-го проекта. (На ней служил мой товарищ Валера Давиденко, и они получили после этой встречи в самой попке дырку размером с

трамвай. Чуть не утонули к такой-то матери и остались на плаву только благодаря полному штилю. Трое суток плыли вдаль.)

Но вернемся к письму.

Его написал пилот FA-18, который находился на борту во время этого случая. Интересное чтение, говорящее о том, что по уровню разгильдяйства военные всего мира просто братья родные.

Комментарии в скобках добавлены для уточнения и объяснения военного жаргона и терминов.

«...Плавание было приятно легким и даже интересным: 54 суток в море, 40 — в порту и 45 часов полетов в одном только октябре месяце! Да уж мы отлетали свои задницы! С тех пор как я стал одним из трех командиров отрядов, я много летаю. Вот интересная история (и это не пиздеж).

Сижу я и болтаю о всякой хуйне с моим исполнительным офицером, и мы слышим звонок из БИЦ (Боевой информационный центр).

Они говорят: «Сэр, мы засеки русские истребители».

Капитан отвечает: «Объявляйте тревогу. Поднимаем истребители».

Но из Центра говорят, что можно объявить только «Тревогу-30» (вылет через 30 минут с момента объявления).

Капитан выматерился и сказал: «Поднимайте в воздух все, что возможно и как можно быстрее».

Я побежал к штурманскому телефону и связался с дежурным офицером эскадрильи.

В тот день дежурила не наша эскадрилья, так что я велел ему выяснить, кто дежурит, и сделать так, чтоб они подняли свои задницы и мчались на взлетную палубу (только «Тревога-7» предполагает, что вы уже на взлетной палубе и готовы подняться в воздух, а «Тревога-30» означает, что вы еще сидите в комнате ожидания).

Короче, через 40 минут после объявления тревоги русский СУ-27 (истребитель, схожий с F-15) и СУ-24 (ударный истребитель — подобие F-111) на скорости 500 узлов прошли прямо над башней «Китти Хок»... прямо как в кино «Топ Ган».

Офицеры на мостике расплескали свой кофе и все, как один, сказали: «Еб твою мать!»

В этот момент я посмотрел на капитана — его лицо было багровым. Этот старый вояка выглядел так, будто увидел, как его жене вставляет морпех.

Русские сделали еще два крутых виража на низкой высоте до того, как мы наконец-то запустили первый самолет с палубы... EA-6B «Prowler» (самолет РЭБ — радиоэлектронной борьбы)

Да, да... мы запустили этот ебанный Prowler один против истребителя прямо над кораблем. Истребитель имел его, как хотел (словно медведь, танцующий вокруг кролика, перед тем как его съесть). Наш уже чуть ли не орал о помощи, когда наконец FA-18 из сестринской эскадры (я исполь-

зую этот термин в буквальном смысле, так как они выглядели, как компания шлюшек, заигрывающих с русскими) поднялся в воздух и осуществил перехват. Но было поздно. Вся команда задрала головы и смотрела, как русские делали посмешище из нашей убогой попытки их остановить.

Самое смешное то, что адмирал и командующий группой авианосцев были в зале командования на утреннем совещании, которое было прервано гулом моторов русских истребителей, кружащих над башней. Офицер штаба командующего рассказал мне, что они посмотрели друг на друга, на план полетов, убедились, что в тот день запуск предусматривался лишь через несколько часов, и спросили: «А что это было?»

Четыре дня спустя русская разведслужба прислала по электронной почте командующему «Китти Хок» фотографии наших летчиков, кружащих по палубе, отчаянно пытаюсь поднять самолеты в воздух.

Я абсолютно уверен в том, что этот раслиздай — офицер, отвечающий за нашу противовоздушную оборону, — был уволен.

Забавно и то, что смена командующего произошла за несколько недель до этого случая.

Как бы то ни было, когда русские попытались еще раз совершить подобное, мы были более чем готовы. Я лично преградил путь ИЛ-38 (боевой противолодочный самолет), и кончик моего крыла

пронесся прямо перед стеклом кабины его пилота, чтобы не дать ему возможность повернуть к кораблю (да, да, мы же теперь друзья, пососи мой член!).

Как старший офицер военно-морских сил стоит на вытяжку, так и мы находились в боевой готовности сутки напролет, словно каждую минуту могла разразиться вторая мировая война. Вчера эта история появилась во всех русских и японских газетах. Русские даже наградили своих летчиков медалями. Какой позор! Я чувствовал себя так, словно нас выебали в жопу, а я даже не слез со скамейки, чтобы помочь своим...»

Воспоминания

Меня тут спросили: «И чего вы пошли в подводники?» — и я тут же ответил: «Потому что люблю!»

А чего я люблю — это уже никого не интересовало. Кивнули, довольные. А может, я совершенно не то имел в виду? Может, я вообще не то имел? Некоторые тоже имели совершенно иное. И им хорошо было на берегу. Потому что иметь то, что я имел, значит вовсе ничего не иметь. У меня даже тельники из каюты все свистнули. И дома у меня не было — зачем мне дом? И койки. У меня было только одеяло. На нем было написано: «Воркута». Это плавказарму так называли. Ту самую, где у меня тельники свистнули. Мне тогда сказали на мое возмущенное: «Где мои тельники?!» — «А хочешь одеяло?» — и я взглянул на жизнь трезво и захотел.

Мало ли чего я еще захотел — уюта или тепла, лучше женского, — но тут выдавали одеяла, и я его взял.

А еще у меня саночки были. Я на них свои вещи по ночам перевозил. И книги. Я очень любил книги.

А в ДОФе был магазин. И туда, как ни приедешь, вечно сидит тетка с внешностью холодильника, которая говорит: «В большом выборе политическая литература!» — и как хорошо, что она была «в большом выборе», потому что я немедленно делал «маленький выбор» — покупал «Полное собрание сочинений Виссариона Белинского» в девяти томах и собрание сочинений Гракха Бабефа в четырех. В автономках я все это читал. Наверное, я читал это все сразу же вслед за редакторами этих книг. Ну, ничего. Не страшно. Должен же кто-то был читать Белинского и Гракха Бабефа. Так почему не я?

Потом я прочитал все письма Чехова — они тоже продавались без художественных произведений — те шли по подписке, а письма, кроме меня, никто не выкупал.

«Дай чего-нибудь почитать!» — говорили мне в море, в Бискайском заливе на глубине сто метров, и я давал — письма Пушкина, Достоевского.

И читали. Не сходить же с ума. Сна же никакого. Бессонница. Если все собрать за десять лет, то я много чего не доспал. Зато я дочитал: Пушкин, Гоголь, Толстой, Лесков, Достоевский, Герцена «Колокол» и Дарвина «Происхождение видов».

Был еще «Свисток» — академическое издание. Я его всем предлагал. Как кто зайдет: «Дай!» — я ему сразу же с порога: «Есть только «Свисток», академическое издание».

Он понравился торпедисту: «Хорошая книга!» — так он и сказал, и я проникся к нему могучим уважением. Торпедист, про которого говорят: «Почему мы тралим мины? Потому что мы дубины!» — полюбил «Свисток».

Я был в восхищении. Я дал ему почитать письма Бабефа из тюрьмы. Я ждал его реакции. Я весь исстрадался.

«Хорошая книга!» — сказал он через неделю, и я не знал, куда себя девать. Я подsunул ему справочник слесаря — с прошлой автономки тут где-то валялся — и он его тоже похвалил.

После чего я от него отстал.

А остальные резали из дерева корабли. Все. Поголовное безумие. Сменялись с вахты и резали.

Я смотрел на них и думал: «Лучше почитать “Пиквикский клуб”».

Я шел к Сове — нашему командиру БЧ-2 — и говорил: «У тебя есть “Пиквикский клуб”?» — «Естественно! — говорил Сова и усаживал меня. — Чай будешь?»

После чая он ко мне приставал: «А у меня сегодня день рождения!»

Этот фокус я знал. У Совы день рождения был в каждой автономке по разу, а заезаешься, то и по два.

«У меня есть коньяк, — говорил Сова, — давай в чай по ложечке?»

После этого можно было не проснуться на вахту.

А это было самое главное в нашей подводной жизни.

Вахта — сон. Не всегда это совпадало. После вахты не всегда был сон.

Чаще что-нибудь придумывали. Чушь какую-нибудь, мероприятия.

А если и не придумывали, то — бессонница.

А потом всплытие «На сеанс связи и определение места» — раз в четыре часа, потом раз в восемь, потом в сутки раз, потом опять раз в четыре, по тревоге, а спать хочется — губы на столе.

А погружаемся — и корпус скрипит, как сухая кожа, и дверь не открыть — обжало.

Я всегда перед глубоководным погружением открывал дверь: вдруг течь — и останешься в аквариуме, а так хоть отсека и люди все-таки.

Вахтенный носовых заглядывает: «Сухари будете?» — и тащит тебе банку сухарей.

Их с чаем хорошо.

На чай заглядывают соседи. Как чуют. «У тебя пряники есть?»

Зачем я все это вам рассказываю? Так ведь праздник же на носу. День Военно-Морского Флота. В этот день положено вспоминать.

Вот я и вспоминаю.

ОТКРОВЕНИЯ КОТА СЕБАСТЬЯНА, временами дикого*, временами совершенно домашнего и уютного

*Зубная система резко выраженного плотоядного типа. Клыки длинные, изогнутые. Коренные зубы, ряд которых укорочен, обладают острыми режущими вершинами. Важную роль в поедании мяса играет чрезвычайно шероховатый (подобно терке) мускулистый язык, покрытый заостренными, изогнутыми роговыми сосочками

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

Небольшое вступление



Меня всегда волновало оплодотворение.

И не оплодотворение как процесс, а прежде всего его мотивация.

В связи с чем я часто вспоминаю родителей.

Интересно было бы узнать, о чем они думали, когда меня зачинали.



Тревожили ли их детали?

Было ли что натужное, с выпученными глазами, тяжелое, как сон архимандрита, раздумье о судьбах Отечества, или что была некая каверза — веселенькая полумыслишка, которую безо всякого вреда для ее сохранения можно оборвать где угодно, нимало не заботясь о последствиях?

И еще мне хотелось бы узнать, что это, собственно, была за мысль или может быть, разговор.

Ну, например, он ей: «Как ты полагаешь, дорогая, делаем мы тут философа или же пройдоху?» — а она ему: «Мы делаем славного малого, любимый!» — и все это с остановками и толчками после каждого слова, достойными отдельного неторопливого описания, как если бы они сидели и беседовали верхом на двух ослух — каждый на своем, которые пытались бы от них освободиться.

Фил - фил - фил - осо фил!

При этом — видимо, не без оснований — можно предположить, что сделан я по большой обоюдной любви, какая бывает только в стане кошачьих, ибо те удивительные способности и свойства, которые я получил в ходе материализации оной, поражают не столько своим многообразием, сколько сутью.



Например, от рождения я отличаю дур и, поскольку над моей колыбелью непосредственно сразу после моего долгожданного выхода на поверхность их тут же замажчило несколько штук: «Ой, какой холесенький!» — я немедленно уразумел, что наделен этим удивительным свойством сполна.

И еще куча всяких способностей — ай-ай-ай, просто куча — перед описанием

которых мне хотелось бы рассмотреть вопрос о собственной агрессивности, представив ее на фоне агрессивности всеобщей.

Когда, скажите на милость, мужчина — тут я людей имею в виду — стал агрессивен?



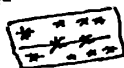
Отвечаем: когда подвязал себе мошонку.

Потому что невозможно угрожать всему миру, если самая уязвимая часть твоего организма вынесена далеко наружу и болтается туда-сюда при бешеном беге, не говоря уже о том, что, прыгая с высоты в озеро, постоянно рискуешь расколоть яички о поверхность водной глади — тут я все еще о людях, — твердость коей с высотой неумолимо возрастает, из-за чего перед прыжком их следует взять в руки — тут я все еще о яйцах, — чтоб, срикошетив от воды, они не ударили наотмашь по лицу, поэтому необходимы все-таки штаны, в которых хорошо бы предусмотреть и карман для гольфика.

К слову говоря, самые кровожадные из дикарей, папуасы, до сих пор надевают на член берестяной колпачок, после чего кидаются друг на друга с боевыми топорами и уже потом, в спокойной се-

мейной обстановке, с удовольствием поедают сочную печень врага.

То бишь я хочу сказать, что, если внезапно с мужчины сдернуть штаны, оставив на нем только верхнюю часть мундира, агрессивность его немедленно улетучится.



Представьте себе генерала, мясника или парламентария, а теперь по мановению волшебной палочки лишите его брюк. Генерал останется заикой, мясник станет рубить мясо нежно, чтобы не промазать, и всем вдруг станет ясна убогость и никчемность просвещенного парламентаризма.

Как мы видим, дело тут в наличии панталон.

Сними их со всего населения — и воцарится долгожданный мир.

Сверху будут эполеты, награды, отличия — всякие знаки Почетного легиона, а внизу — целиком невостребованный аргумент, обрамляющий волосатые ноги.

Хотя на самом-то деле слово «обрамляющий» мне не нравится.

Оно здесь не совсем подходит.

Вот если бы этот предмет шел по всему периметру обсуждаемой нижней части, тогда совсем другое дело, а так... можно

попробовать слово «оттеняющий» — впрочем, сразу, я полагаю, это дело не решить.

У меня есть один знакомый — до колена большой ученый и дока в подобных делах — так он со мной совершенно солидарен: так просто не решить.



Нужно подумать.

И сделать это следует на родном русском языке, к великому нашему общему счастью, являющемся языком молодым, незастывшим, а посему в него можно вставлять что попало, а также как угодно переставлять слова, менять интонацию и тон предложения, из утвердительного делать вопросительное; можно расставлять акценты или избавляться от них; можно заверять, утверждать, объяснять, обещать, аргументировать, мотивировать, нести околесицу и говорить загадками, а потом можно все это похерить, ссылаясь на временное помутнение, молодость языка, его резвость и пыл.

А с пылу чего не сболтнешь.

Так вот о фаллосе и моей агрессивности: утром он встает надлежащим образом, и наладить агрессивность в подобном неудобье совершенно невозможно.

Таким образом, очевиднейший вывод: обнажение и эрекция — необходимые условия мира и демократии.

Не говоря уже о влиянии коитуса на разум — тут я все еще размышляю о людском разуме.

Ведь если предположить, что причиной совокупления, как и следствием оногo, является достижение оргазма, то многочасовое перепиливание партнерши по ночам в поисках последнего с трудом укладывается в представление о разумности человеческой расы.

Хотя при чем тут представление о разумности? Может быть, все эти представления не более чем догадка, предположение, допущение в поисках первопричины на фоне кризиса самосознания, опирающегося на вольность математических построений, вздрагивание рассудка и паранойя логики.



То ли дело кошки. Соитие может происходить хоть по сто раз подряд и каждое завершается пипеточным оргазмом.

Вот где целесообразность, перетекающая в ум. Зачем пилить, если только вставил рожок — и уже оргазм.

При этом должен заметить, что, по моим неоднократным наблюдениям, минет — это любовь, притянутая за уши.

Все эти выводы стали возможны лишь только потому, что мой хозяин — он,



бедняга, таковым себя полагает — всякий раз оставляет открытой дверь в спальню, и я с достоинством, столь угодным природе, прошеествовав на свое законное место, на кресло, могу с него наблюдать человеческую любовь — то есть то, что они сами называют любовью во всех ее проявлениях, то есть то, что не зависит у них ни от времени года, ни от времени суток, ни, тем более, от флюидов.

Все эти движения, все эти «Ларисочка, тебе хорошо?» по моим скромным расчетам, не имеют ничего общего с потрясающим периодом ухаживания и восхитительных ласк, принятых в мире всего живого, от комара до удава, ибо только прелюдия, только томление достойны — это слово я уже где-то употреблял, ну да Бог с ним, на чем я остановился? Ах, да вот... после чего мне приводят самочку и заднюю ее часть пихают мне в нос, предлагая воспользоваться.



ТЬФУ!

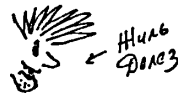
Дорогие люди...

Нет, я, конечно, понимаю своего хозяина — он, бедняга, все еще считает себя таковым: после того как сам над подобным тебе существом, надломившись, осуществляешь акт типичного полового вандализма, до детерминизма ли тут!

А эти колыхания огузка!

И как тут не вспомнить философа Жюля Делеза, рассуждающего о концептах.

Как не вспомнить аристотелевскую «субстанцию», декартовское «когито», лейбницианскую «монаду», кантовское «априори», шеллингианскую «потенцию», бергсоновскую «длительность».



Задница, господа...

Задница, колеблющаяся в такт с противолежащей задницей, предполагает наличие субстанции, априори с помощью когито перетекающей в монаду, что само по себе подразумевает потенцию на фоне невероятнейшей длительности.



Пролог

Вас, я полагаю, уже восхитила моя начитанность, хотя я все еще слышу возгласы: «Ах, эти коты, что они могут!»



Мы можем все.

Долгими зимними вечерами, когда не тревожит либидо.

Видели ли вы когда-нибудь кота, в предвкушении великого удовольствия во взоре располагающегося на книге или на газете? Видели ли вы, как он это делает, с какой нежностью, теплотой и любовью к знаниям он готовит место — утрамбовывает и утаптывает?

Это настоящий чтец, ценитель завершенной фразы, наблюдатель сверкающей мысли, созерцатель озарения.

А все потому, что все мы, коты, читаем нижней своей частью, в отличие от людей мы потребляем знания животом,

соприкасающимся через обложку с обожаемым чтивом.

Наш живот выделяет тепло, которое приводит атомы текста поначалу в смятение, в совершеннейшее волнение, а затем и в полное согласие с его собственными — живота — первокирпичиками.



Поймайте в глазах кота разгорающуюся негу, то есть то состояние неземного блаженства, когда атомы знания уже перекечевали и абсолютно перемешались с его личными атомами, когда уже невозможно отличить, где, собственно, кот, а где его знания об окружающем;

поймайте — и вот уже во взоре его появляется неукротимая томность — это значит, что под нами поэзия, что ее неистребимая сила выгнула нам спину, сдвинула с места печень, освободив стесненные до поры протоки желчи, и они хлынули теперь себе свободно и величаво,

а вот и внезапная туча омрачила чело — о-о-о...— то мы достигли патетической прозы, поучающей, воспитующей, перебивающей хребет всякому безобразию;

а вот и ласковое бесстыдство празднично засияло, будто листва или лужи после дождя, — это к нам просятся молодые журналистика, эссеистика, литературоведение и публицистика, —

все эти непростые популярные наблюдения, как, например, в книге инто-

наций и приоритетов Маруси Ушан «Пук и треск»,



Синтаксическое
ударение

тут наш автор,
время от времени тяготея к про-
тивоположностям и синтаксическому чле-
нению,

где постанывая, где поблеевая
втайне,

различает прозу и стихотворную
речь,

сообщая тем самым свое непред-
взятое мнение не только посредством при-
родного речевого аппарата, но задействуя
сразу все свои органы чувств,



Якобсон

то есть совершая прозрение,
делает, наконец, открытие, рас-
калывая орешек, над которым бились
многие замечательные люди: например,
Якобсон...

и все-то это по кругу, сменяя друг
друга.

Вселенная в этот момент заклю-
чена в его взоре — тут мы снова возвра-
тимся к коту —

потому как коловращенье корпускул,
их стекание и растекание, разъя-
тие и радостное вновь соединение в не-
расторжимое целое — ее суть, ее глагол,
ее стержень, ее жупел, ее дикое ржанье...



А вы мне говорите о заднице.

И не отпирайтесь, я знаю, что говорите, потому что мой хозяин — бедолага, жаль его несказанно: сгоняя меня с сочинений Ламарка, всегда произносит это слово.

Ни звука более.

Слышать ничего не желаю.

Ах, Николай Васильевич! Полноте, батенька, полноте, вы, вы, вы — мое единственное утешение, вы отрада моя во дни гонений, во дни тягостных раздумий... да... Гоголь...

Когда хозяин предлагает «дать мне в жало», я почему-то всегда вспоминаю, какой был у Гоголя нос, — это был нос литературного кумира, кулинара Пиндаровых сладостей, фармацевта, я уж не знаю чего... да... все мы вышли из этого носа.

Я думаю, все.

Потому что иное место для выхода представляется мне совершенно неприемлемым.

Ах, Николай Васильевич, дорогой мой, душка, Боже ж ты мой, ужас, ужас, до чего хорошо, хорошо-то как, Господи! Особенно вот это ваше: «Знаете ли вы...» — чудо, здорово, дрожь, прохлада понимания... Слов нет, одни рыдания...

Гоголь

Пиндаров



← памятник

Я бы воздвиг вам памятник, кабы не лень.

После чего я бы воздал вам должное, описав все памятники, на которых возвышаются ваши литературные конкуренты, последователи, подражатели либо клеветы.

А также я обошел бы места, на которых, по моему разумению, должны будут возвышаться окаменевшие лики ныне здравствующих литераторов, не только Маруси Ушан, качество литературных изысков которых оценивается литературными премиями.

Боюсь только, жидкости не хватит.

Из околохвостных мешков.



← Маруся
Ушан

Глава первая.

ОПИСАНИЕ УТРА

Утро

Утро примиряет меня с жизнью. Тому свидетельство распушенный хвост, желание встретить солнце на подоконнике,лизать свои яйца и написать сценарий «Русь измочальная»: по голому полю неустанно бредет одинокая лошадь, воеет ветер, гнутся деревья, отовсюду летят бумажки.

Лишенные шерсти почти целиком — за исключением головы или того выпуклого недоразумения, что за таковую считается, ну и, конечно же, срамных мест, уход за волосами в которых более всего напоминает задумчивое преследование

экзотических насекомых, — люди любят гладить нас по спине.



От этого бывает сложно отвертеться.

После чего очень трудно отмыться.

Разве что нам подсобит вдохновение.

А вы вспомните, как моется кот.

Как он готовится, замирает перед началом, точь-в-точь философ, повец горного эхо, а потом пошло-поехало. Его язык — смычок, его нога — виолончель Растроповича. Вот он им повел, вот повел, подлец, повел, вытягивая до-диез. А вот он вернулся в начальную точку и снова открыл для себя восхитительный мир божественных звуков, задержался, заколебался, завис, подрагивая, — так вздрагивает поутру осиновый лист или конь от нетерпенья, с шумом выдыхая морозный воздух, — и вновь навалился на свой инструмент, разбрасывая кудри.

Это я о маэстро.

В этот миг он превратился в смычок, в струны, в чистый звук.

Его нет, а есть только безумие жизни, для которой едино все: и любовь, и гниение, и стыд, и смрад.

Самозабвение, государи мои, чистое самозабвение.

Вот как моется кот.

А вы мне говорите что-то, что если кому делать нечего...

И не отпирайтесь.

Ведь я-то уж знаю.

— Кис-кис, Бася, Бася!..

Ой, кто это нас позвал, экономя на буквах? Ну конечно, это он.

Мой бедняга.

Ну вообще-то я не «Бася», я — Себастьян Берта Мария Альварес Франсиско де Картакена, а это вам не кий собачий, и мой прапрапрапра — уж не помню сколько раз — щур сидел на коленях у сына хирурга, бедного идальго, в молодости славно послужившего в солдатах, отличившегося в битве при Лепанто, в ходе которой он лишился левой руки, был схвачен пиратами и продан в рабство алжирскому паше, литератора, агента по закупке провианта и трижды судимого сборщика недоимок. Мой предок нашептал ему много историй, которые тот не преминул записать.

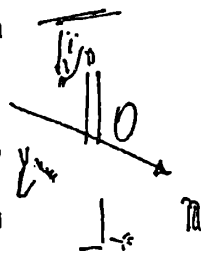
Его звали Сервантес Сааведра Мигель де.

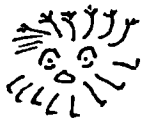
Идальго, разумеется.

Ну что там у нас? Ах, ну конечно, опять эти куриные головы!

Золото сусальное! Все мучения дона Кишота! Не могу же я все время есть куриные головы!

В них совершенно отсутствуют витамины и клеточное молочко. То самое клеточное молочко, во что превращается еда в процессе пищеварения.





↑
Менделеев

А люди едят ужасающие вещи.
Бог ты мой! Бог ты мой! Нет, нет, нет! А
точнее — да, да, да!

Всю таблицу Дмитрий Ивановича
Менделеева, четырнадцатого ребенка в
семье.

А мне, почесывая меня при этом
за ухом, предлагается гипотетическая
мышка, на проверку всякий раз оказыва-
ющаяся все той же голубоватой, с просе-
дью куриной головой, в следующих выра-
жениях: «Хочешь, хочешь, паршивец, во-
лосатый пельмень!»

Пристальное изучение этого воп-
роса, вопроса о еде, привело меня к не-
утешительным выводам: организм чело-
века представляет собой хорошенькую
помойку.

Что не может не сказаться на его
поведении, обустройстве быта и образе
мышления как процесса, далекого от не-
прерывности.



Мусор, господа,
состоящий из рейтингов, пива,
инаугураций, катастроф, террористов, не-
мытой посуды, баб, бомб, омоложения,
очищения и осушения сосудов кармы.

Интерес же к силам потусторон-
него мира, магии, чародейству, кабале,
иезуитству, бесстыдству и казнокрадству
говорит о том, что в помыслах своих че-
ловек темен.

В этот момент меня пинком сгоняют с дивана.

Успею ли заметить, что сам по себе пинок, как бы правильно все описать, это та минимальная плата, на которую может рассчитывать тот, кто целиком поручил себя избраннику.

Еще один пинок.

Кормящий и выкормыш — это дилемма, я полагаю.

Немедленно за диван.

— Вылезь сейчас же и съешь куриную голову!

Как же, приготовьте обе руки.

— Ладно, зараза, я на службу ушел, а тебе все равно ничего другого не оставлю.

Безграничная мрачность и молодежеская тупость!

А вот я бы не был столь категоричным в суждениях. И вообще в суждениях, в оценке событий была бы симпатична осторожность.

Я бы даже сказал, симптоматична.

Лучше быть расплывчатым, неконкретным, неясным, говорить такие слова, как: якобы, вроде бы, обращает на себя внимание тот факт, вполне возможно, казалось бы, поначалу, вольно было бы предположить, как бы, если, в свое время, скорее всего.

Событию нужно предоставить свободу.



Оно ведь материально — надеюсь, что уж это ясно всем. И оно алчет своей независимости. Его нельзя взять в руки, вставить куда-нибудь тесно, прижать, застолбить, сказать, что это мое, потому что не вы его автор.

Только вы подумали о том, что событие у вас в кармане, как оно извернулось ужом злопахучим и выскользнуло из рук.

А тут налицо этакая роспись в собственном бессилии — это я насчет «ладно, зараза».

Этакая песнь баргузина, шевелящего вал.



Хлопнула дверь. Стоит посидеть еще немного в укрытии, ибо опыт подсказывает, что в озлоблении своем люди необычайно изобретательны.

А вот коты мудреют быстрее.

А вот люди могут и вовсе не помудреть.

Так и мрут, савраски, относительно недалекоими. Так и мрут.

Как снопы на корню.

А чего сотню лет растить придурка? Все равно ведь ясно с первых шагов, кто и для чего родился. Так что некоторые сорняки можно выполоть в шестьдесят, некоторые лучше в сорок.

Тишина. Ушел. Не спрятался, не затаился, не залег, подминяя гнилую со-

лому и собрав свои мышцы в пучок. Пошел на свою драгоценную службу.

Ну и фал-шалунишку ему, так сказать, в руки. Пускай служит. А чем им еще заниматься, исходя из плотности населения? (Бывают мгновения, когда я способен только к ругательствам.) Все разом замерли, как выпь по росе, головы повернули все вдруг направо и одно ухо сделали себе выше другого. И сразу хорошо.

И сразу здорово.

И жизнь представляется не лишней игривости и сути.

И сразу понятно, ради чего.

И в чем великий смысл происходящего.

Ты только встань в строй — и тут же ясно, куда нам двигаться.



К служба

ГЛАВА ВТОРАЯ, эволюционная



«Эволюция зря...» — хотелось бы так начать очередную главу нашего повествования, в которой я рассчитываю поместить размышления о том, что незачем было для всеобщего расцветания выбирать ветвь человека, когда можно было остановиться на ветви собаки или же лошади, изначально лишенной столь злобствующей разносторонности.

Но, воскликнув: «Эволюция зря!..» — я был немедленно озарен диковатой красотой этой незавершенной фразы, в которую совершенно безболезненно много бы чего уместилось.

Попробуй, читатель, воскликни: «Эволюция зря!..» — и сейчас же тебя охватят первичные сомнения, а потом им на смену придут сомнения относительно первоначальных сомнений, которые, по-

лучив в озвучании столь необходимое для себя развитие, незамедлительно воплотятся в третьих сомнениях, абсолютно не напоминающих ни свою мать, ни бабушку!

Глубина приведенного выше высказывания на какое-то мгновение ослепила, оскопила, обескровила, а затем и лишила мое повествование всякого аллегорического смысла.

Оскудение ума, бесплодие и потеря дееспособности, что по сути своей почти одно и то же, замаячило впереди, но (вот ведь как все устроено, а?) как только стало казаться, что теперь я замолчу навеки, как только пыль подоконника сделалась было моим единственным уделом, как раз! — и жизнь в виде непрерывной цепи рассуждений вновь и вновь полнокровно и властно заявила о себе. Так заявляет о себе ребенок, накормленный и уложенный спать. Вдруг среди ненадежной ночной тишины слышится его первое в этой жизни слово: «Ма-ма!» — и ужас, холод пропасти под ногами, неприятные ощущения, связанные с опущением простаты, — вот что приходит родителям с первыми же его словами.

Оно! Оно заговорило! И ужас немедленно обращается в радость, которая — нет-нет — а все еще ужас.

Так вот о лошадях. Не лучше ли было обратиться к ним, питающимся так



монохромно. А уж какая чувствительность и глубина восприимчивости малейшего искажения во взоре и в позе. Я и не знаю; у какого из живущих существ подобным же образом выражена чувственность, как у лошадей.



Разве что у собак.

О котах, понятное дело, ни слова, поскольку если этих потрясающих существ мы сделаем идолом всей эволюции, то некому будет наблюдать за самой эволюцией.

Так мы навсегда лишимся и ума, и объективности.

Хотя что же почитать за ум, как не способность усомниться в самом существовании объективности, и что полагать за объективность, как не полное отсутствие ума, толики логики и разума во всем происходящем.

Оставим все это. Полно. Однако пора. Пора вбить в наше повествование кол событийности. Я хотел сказать, что сами по себе мои рассуждения, разумеется, необычайно хороши, но необходимы шурфы сюжета, которые эти рассуждения будут огибать, как змеи.



Не описать ли нам своего хозяина? Не описать ли нам в назидание всем кормящим свое потомство молокодающей грудью сам способ его существования как таковой?

Видимо, описать.

Он — офицер. Снимем шляпы, взобьем вихры, послюнявим и уложим их на надлежащее место. Всячески изготавимся. Нам предстоит описание идиота.



Лакомая штучка, господа. О-о-о... я знаю, о чем говорю. Всем во все времена хотелось изобразить идиота как необходимую категорию и как отправную точку.

Но не всем в этом деле сказочно везло. Тому причиной отсутствие любви и обожания, что в нашем случае как раз наоборот.

Уж мы-то его любим. Ох как мы любим, доложу я вам! Ох как любим!

Уж нам-то он понятен, потому что близок.

А когда в часы межвидовых примирений мы располагаемся у него на животе, а он в это время — ах он, промокашка! —

похрапывает, посапывает, пожевывает воображаемые блага,

просыпаемые на него ненароком государством,

нам становятся бесконечно ясны все движения этой незлобивой души,

более всего напоминающей кактус, расцветающий от скудности и жары, погибающий от прохлады и изобилия.

А эти примитивные желания уволиться в запас незначай,

просто так, по случаю,
обязательно на 75% пенсии,
чтоб наконец-то зажить, сидя у
дерева под сенью одного, под журчанье
ручья у озера, чуть припорошенного блу-
дящей ряской?

Не порождают ли они умиление,
точно игры младенца, пытающегося су-
нуть палец ноги себе в рот?



Порождают.

Увы!

Труженик и неумеха, бестолочь и
романтик, палач и его жертва, торопливая
безалаберность и первородная дикость!

Словом, это государственное
дитя.

Все, что нужно ему, — крупица
внимания и щепоточка похвалы.

И еще медали.

Дайте ему медали! Дайте!

Он вцепится в них, прямо вопьет-
ся, как язык на морозе в чугунные перила,
потому что сроднился с металлом.

В этом месте стоит отвлечься и
описать золотистый прищур.



Он возникает тогда, когда сквозь
полузакрытые веки смотришь на солнеч-
ный диск. Внутри глазного яблока вспы-
хивают яркие пятна, будто зайчики на сте-
нах грота, и веки смыкаются, оберегая
глазное дно. Так возникает золотистый
прищур, после чего все на этом свете ус-

покаивается, подтверждая свой временный статус.

Ах читатель, не будем сразу наполнять этот ящик Пандоры, под которым я, естественно, понимаю всего лишь облик моего хозяина.



Потерпим, повременим, не все так сразу. Сделаем наши усилия более гибкими.

Порассуждаем об этом. О том, что такое гибкость и что такое усилия. Разнообразия для.

Что есть гибкость? Это изворотливость, изменчивость, подвижность, способность переродиться, повернуть неожиданно вспять, оставить, оттолкнуть, отринуть все лишнее, все мешающее, это враг всякого окостенения, это полное отсутствие всяческих принципов — за нею огромное будущее.

Что есть усилия? Это умение мечтать.

Они спаяны воедино — гибкость, усилия и мечты.

Кажется, что тут что-то не связывается. Ах, поверьте, это только кажется.



ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Его жилище



← ДОМ.

Иисус Мария! А я все думаю: для чего мы живем?

Для чего и какого, собственно говоря, дьявола?

Другими словами, ради какого рожна этот мир вертится, топчется, крутится, вероломствует, подтасовывает, подличает, торопится, переживает и кипит?

Думаю, ради передачи тепла.

Ничто в целом мире не способно накопить тепло в каких-то обозримых пределах.

Но все способны его передавать: юность — посасывая, младость — разбрасывая, старость — соскребая, перед тем как отправить в рот.



Все, решительно все, от таракана до кометы, его передают.

Из прошлого, минуя настоящее, непосредственно в будущее.

Само Великое Время только ради этого вращает атомы и планеты. Не поспешим его осуждать — это единственный способ его существования.



А что же все-таки хотя бы на мгновение сохраняет накопленное?

Честолюбие и жильё.

Первое заставляет все упавшее перед носом сгрести под себя под влиянием иллюзии удержания его какое-то время в непосредственной близости от морды, а второе позволяет рассчитывать, что в нем можно будет сложить все несъеденное, перед тем как оно само рассыплется в прах и утянется в почву.



Во всяком случае, жилище хозяина, по моему разумению, давно должно рассыпаться в прах и утянуться в почву. А то место должно немедленно порости лебедой, пустырником и осокой.

Ему более всего подходят слова: «вонючий бедлам», « берлога, отмеченная по периметру плитуса перчинками прусачьих кашаек» и «стойбище кочевой орды».

Хотя гунны в походе жили получше и чище, у них происходило соитие.

И чаще, я думаю.

Вот именно — чаще.



И вообще я не понимаю нашего государства, о котором мы еще потолкуем. Ох, потолкуем мы еще о нашем государстве! Ох, потолкуем!

Осы в меду! Как можно содержать
офицера — человека явно недоразвитого —
брошенным посреди нечистот!

А тухлый пар из подвала!.. А
гнусь, тлен и слизь со стен!..

Умолкаю, умолкаю, умолкаю...

Воля ваша, хотите иметь вместо
офицера ластоногое чудовище — воля
ваша...



ластоное чудовище

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

О количестве

Одно только замечание о количестве.

Только одно.

Единственное.

Вот оно: зачем нам такое количество офицеров?

Все.

Я уже заткнулся.

Конечно, можно было бы содержать только одного умного, а так — половинку взяли у этого, четвертинку у того, у кого-то хороши только руки, у кого-то ноги — получается коллектив.

Эта глава самая маленькая, потому что и так все ясно.



ГЛАВА ПЯТАЯ, описывающая то, что я считаю для нас самым главным

Главное для нас — не останавливаться.

Главное — нестись вперед, увлажняя от скорости взоры, по канве сюжета.

Вы уже почувствовали канву? Нет еще? Не случилось? Ай-яй-яй!

Сейчас почувствуете, потому как только теперь мы всерьез и займемся канвой.



Уж мы ее выпишем с любовью.

Уж в чем, в чем, а в этом сомневаться не приходится.

Ах как бережно и с каким природным изяществом и прилежанием мы этому себя посвятим, и кому, как не нам, знать, как что делается.

Мы закусим свой злобствующий язычок, добавим в собственный облик

миндалевидной мечтательности, задумчивости карпообразной об излагаемых судьбах и немедленно приступим к изложению предмета.

Я уже говорил вам, что в нашем повествовании речь идет об офицерах на водах?

По-моему, говорил.



Ну да, что-то такое уже мелькало, неумолимо связанное с ластами и гнилью.

Так вот еще раз — это водяные офицеры — я имею в виду своего хозяина и все его роскошное окружение.

Повторюсь — это офицеры в корыте, которое плавает или же полощется у борта, а они в это время смотрят вперед в совершенно безбрежное море, в соответствии с которым они абсолютные бактерии или даже вирусы, делая себе государственное выражение лица, видное в микроскоп кем-то огромным из холодного далека при полном отсутствии на то всяческих оснований и поползновений, что само по себе уже вопрос идеологии.



Конечно же.

Потому что идеологически верно иметь такое выражение, отпугивающее врагов, не посвященных в настоящее положение вещей, когда ты сидишь в лохани или же в бидоне, который колышется и перемещается преимущественно вверх-вниз, реже все же вперед — в сущности,

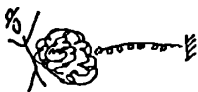


по воле божьей — и как это ловко, с точки зрения общественной целесообразности, иметь как можно больше подобных плавающих коптилен, напичканных этими лупоглазыми микроорганизмами за как можно меньшие деньги.



Порассуждаем о совести и о том, что наше занятие предвосхитит рассуждения о чести, которое мы оставляем начальнику этих самых микробов, потому что предполагается когда-либо услышать его речь о наличии чести исключительно у того лупоглазого, самим кудлатым своим бытием обращенного в полного кретина, восседающего в каноз, которое держится на воде лишь благодаря неустанной заботе Всевышнего, а никак не общества или государства, если угодно, у которого все время хочется справиться, как там у него обстоят дела с его государственной совестью или с тем, что под ней подразумевается.

Не болит ли у них где-либо чего, не жмет ли?



И я бы справлялся о том ежечасно, если б было у кого, если б нашлась вывеска или же бирка, что, мол, вот мы, татарской та-та-

та-та дети, заходите сюда к нам без трепета со своими примитивными претензиями.

То есть наличие чести — равно как и разговоры о ней — у пребывающего в углу тазике среди губительных волн предполагает отсутствие совести у государства, обнаружить следы которого для предъявления счета так-таки не удастся?

И, чем больше требуется чьей-то чести, тем, значит, меньше где-то осталось чьей-то совести.



Для описания подобного явления более всего подходят слова «гопота» и «россиятина», и еще есть выражение: «Люмпены да благодарности не изыщут».

Все.

Пора лизать себе хвост. А то ото всех этих переживаний, возникающих при изложении столь ракообразного материала, волосы в районе хвоста неуклонно топорщатся, нарушая гармонию и красоту нашего непростого обличья.

Так что не обессудьте.

Пора.



ГЛАВА ШЕСТАЯ, описывающая волнение



Я взволнован.

Теперь это ясно со всей очевидностью: у меня в глазах сырость, в спине — дрожь, в горле — стон, в животе — рожь.

Или ее разопревшие остатки, которые люди называют хлебом.

Как только подумаю, что мне предстоит описать дорогу, по которой каждое утро мой хозяин отправляется на службу — ну, то есть туда, где в дальнейшем и будут развиваться события, — так незамедлительно ощущаю смятение.

А вдруг он там ударится своей хрупкой верхней частью и тут же умрет, кто же тогда отыщет меня и накормит?



Ведь он бежит сломя голову
ночью по заснеженной дороге

и скачет, и скачет, никакого удержу, а потом несется вниз с заледенелой горы, взметая вихри и, несколько раз поскользнувшись, оседая на свой прорезиненный анус (почему «прорезиненный»? Об этом после.)

А потом снова вверх, в гору, налегая грудью и заиндевелым лицом, а потом опять с горы...

А все ради чего?

А все ради того, чтоб в 8.30 утра попасться на глаза начальству, которое милостиво кивнет — не опоздал, — и тогда можно будет утереть пот и радостно рассмеяться: все-таки успел!

Не лучше ли «ухаживать за щелью» — как говорит мой хозяин, имея в виду женский орган, именуемый по способу воздействия на него «влагалище», не лучше ли «сунуть ей пальцы в трусы, чтоб проверить, на месте ли она»?

Мне кажется, в этом движении куда более здравого смысла.

А подвергать ежедневному испытанию сами основы моего и собственного существования ради одного только начальственного кивка — чистейшее безрассудство, или я чего-то не понимаю.

Тут ведь и не выберешься, случись чего.

Я же замурован в четырех стенах.

Вот почему мы урчим при встрече



че. Вот почему мы лезем на руки, ластимся, пытаемся поцеловаться — мы радуемся размурованию.



Ларошфуко (фраг)

А вот здесь следует подумать о политиках.

Размышления об этом предмете меня немедленно успокаивают.



ПАПА УРБАН

При этом любые выражения хороши.

Ну, например: «Политики — что алчное человеческое отродье» или «Политики — всего лишь пыль на штанах истории. Задача истории — освободиться от пыли. Задача пыли — задержаться подольше», — последнее выражение принадлежит Шекспиру, начинавшему было писать роман «Блеск и тиск», но так и не нашедшего в себе силы закончить это титаническое дело. Потом его приписывал себе Ларошфуко, затем Наполеон, Бомарше, мама Медичи, папа Урбан, Екатерина Вторая и Елизавета Первая. Всем им понравилась изобретенная формула и все они, со всей страстностью крохобора, вырывали авторство из рук друга.



↑
МАМА МЕДИЧИ

Бедолаги.

А все потому, что словесные формулы бесценны.



БО-МАШ-Е

То есть не имеют цены.

Что пока что известно лишь немногим собирателям слов.

Ибо формула почти так же бес-

смертна, как бессмертен в этом мире сыск.

А человеческая мысль подобна паутине: выпущенная, часто безо всякого повода, по одному только недоразумению, она полетела-полетела, лишь изредка подрагивая на солнце, чтобы потом зацепиться за веточку или задеть кого-либо по лицу.

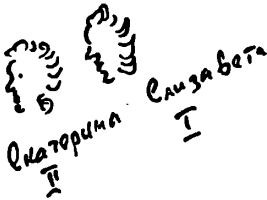
Все.

Достаточно лирики.

Я успокоился.



К. Наполеон (профиль)



Скаторина
II

Елизавета
I

ГЛАВА СЕДЬМАЯ, достойная во всех отношениях

Собственно говоря, возвращаясь к урчанию как к прелюдии отношений, стоило бы заметить: кот урчит не от желания угодить

и тем он выгодно отличается от нижней палаты парламента,

урчащей то там, то сям,

перед тем, перед этим,

по поводу и без такового,

роящейся, как крылатые муравьи, которые после своих обязатель-

ных зудящих пассажей должны обломать крылья, отползти в сторону, найти то место, где досыта кормят, и основать свое собственное стадо с неременными матками, кладками, яйцами,

то есть нижняя палата парламента гораздо ближе к насекомым, — мерзость, одним словом, конечно, что там говорить,



а вот кот урчит из-за чувства комфорта, переживаемого в присутствии хозяина, которому отводится роль любимого природного фона;

и при этом попробуйте его потискать — он тотчас же выпустит зубы, отпустите — и он опять заурчит.

С точки зрения кота, человек, сжимающий его в минуты блаженства, поступает как существо грубое и неблагодарное, — ему поют песни, а он пытается задушить.

С точки зрения человека, кот существует только затем, чтоб его мять.

Ах!



Как мало в этом мире совершенства.

И это достойно всяческого осмысления и сожаленья.

И я по указанному поводу иногда неприкрыто скорблю...

Но что тут поделаешь, когда все лучшее — на дне: «Титаник», «Варяг», Муму.

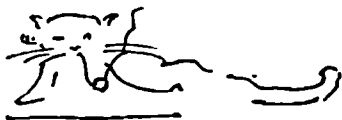
Тут уж ничего не попишешь. Можно, конечно, что-либо, но, по-моему, все что пустое.

И все-таки: стоит ли нам искать совершенство?

Безусловно, да.

А чем же еще заниматься?





стихи: "КОТУ КОТЫМ КОТА КОТУМ..."

ГЛАВА ВОСЬМАЯ, посвященная письмам и стихам

А я вот все думаю: не написать ли самому себе письмо?

И получить его в часы, предназначенные для размышлений?

И не начать ли его так:

«Многоуважаемый сэр!

Обстоятельства складываются таким образом, что нам никак не миновать эпистолярного жанра.

Ведь только в нем можно воздать хвалу предмету разговора, не рискуя навлечь на себя обвинений в суетности и необъективности.

В нашем же случае хочется сразу начать с описания того отнюдь не ложного чувства собственного достоинства которое прежде всего бросается в глаза при первом же общении с вами.

Ах, как все это не просто, вся эта поступь, эти речи, этот взгляд чуть-чуть в

себя и немного в сторону, а эти многозначительные паузы — ох уж эти мне паузы и, наконец, этот хвост — он всегда на отлете.

Не приложу ума, как вам все это дается?

И как на протяжении всего повествования вы еще ни разу не уронили себя. И сколько во всем вашем ежедневном поведении гармонии и природного такта. Являются ли эти качества приобретенными? Мы говорим: «Нет». Являются ли они врожденными? Мы говорим: «Да», поскольку истинное благородство души не купить, не заронить, не выкормить. С этим нужно родиться в седьмом колене. Это как лишний набор хромосом — только до внуков включительно считается уродством, а затем, извините, порода.

Ах, порода! Как часто ты заставляешь идти наперекор судьбе».

А может быть, написать о себе стихи.

Я видел что-то, посвященное котам, похожее на калмыцкую поэзию: «Коту котым кота котум...» — знать бы что все это означает. Но, по-моему, написано все-таки по-курдски и, вполне возможно, означает оно я даже не знаю что.

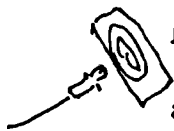


ГЛАВА ДЕВЯТАЯ, возвращающая нас к моему хозяину

Хозяин, что родина, — его не выбирают, и так же, как родине, ему следует почаще радоваться.

И это, по всей вероятности, должна быть немотивированная радость, которая и является радостью не на каждый день, радостью в чистом виде.

— Ну что, съел-таки куриные головы?!



Ну вот, опять! Ты ему радуешься, а он о своем. И что он пристал к этим головам? Какая-то навязчивая идея. А, может быть, все связано с эдипальными комплексами. Может быть, куриные головы напоминают о какой-то детской травме, виновной в эмоциональном недоразвитии? Ну, например: сырыми ему совали их в нос, принуждая попробовать.

— Ну-ка, где они?

Да съел я их, съел.

— Молодец! Ну иди, я тебя поглажу.

Придется терпеть.

— Звонила наша мама, она скоро приедет.

Не знал, что у него есть мама, которая скоро приедет.

По-моему, у моего хозяина не должно быть родителей.

Он должен быть подкидышем, найденным на щербатом пороге холодно-го сиротского дома.

Судя по повадкам, его до десяти лет кормили окаменевшей манной кашей и водили гулять строем в колонну по четыре, что возможно только в учреждениях общественного призрения. А теперь у него есть мама. Интересно, чем нам это грозит?

— Я уйду в море, и тебя не с кем оставить, но приедет мама...

Ах, вот оно что! Как же я сразу не догадался! Под словом «мама» понимается не зачатие-вынашивание-роды, а примитивное сожительство. Так что мы были абсолютно правы: без эдиповых комплексов здесь не обошлось. Это он супругу называет мамой, а себя, заметив после попойки в зеркале, папой.

Вы бы видели это лицо. Конечно, зрелище не из приятных и требует всячес-



кого смягчения, а слово «папа» — из того покинутого мирка, где сохранились запахи дивчины, овчины, сладкой всячины, где по праздникам готовили пироги с вишневым вареньем и винегрет, так что для смягчения оно вполне подойдет.

Мда.

Так вот, возвращаясь к маме: я не нахожу слов.

Ну, то есть, я их нахожу, но не вижу великого смысла в том, чтобы их произносить.

Значит, нас будет окучивать мама, которая физически таковой не является, за исключением тех незначительных деталей, когда в постели у нее посасывается грудь.

Ага.

Но ведь она здесь редкая гостья, и упомянутые двумя строчками выше функции за нее обычно исполняют другие, а она в это время учится на юридическом факультете и будет потом доктором права, у которого, я думаю, со временем не очень-то пососешь грудь не ввиду малой ее величины, но ввиду полученного образования.

С образованием хуже сосется.

Это мое убеждение.

Хотя меня, по всей видимости, это не должно волновать. Между прочим, от низа штанины моего хозяина так сильно

пахнет внешним миром и свободой, что этот запах заставляет все бросить посреди фразы и принюхаться.

Потрясающе.

Тут и мороз, и снег, и магнитные бури, тут и будущие смерчи, ураганы, потопы, ливни, сели, кораблекрушения, землетрясения, тут и падение астероидов и исчезновения целых цивилизаций.

Но людям всего этого не объяснить.

У них нет соответствующих органов.

Вот маму пососать — это запросто.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ, цивилизационная



Грибки

Кстати, о цивилизациях.

На коже человека обитает масса различных грибков.

И почему бы не предположить, что грибки — это неведомая цивилизация, переживающая периоды то расцвета, то заката?

В период расцвета получают свое развитие грибковая математика, физика, химия, культура, литература, пишутся труды по шизоанализу, исследуется соотношение грибкового сознательного и бессознательного, и одни грибки изобретают способы существования за счет других грибков, совершенствуя при этом средства передачи информации, а в период заката сообщество гибнет под натиском новой противогрибковой мази, и затем все повторяется, причем новые грибки ищут следы

прошлых грибков, а также выдвигают гипотезы относительно причин их катастрофического исчезновения.

См. 000 000 000 X 00000 000 .
кошачьи Лисьямена

Да.

В это время на ботинках хозяина я прочел некое послание, заставившее вмиг оставить всю грибковую цивилизацию.

То была длинная цепь молекул кошачьего алфавита.

Я расшифровал ее, конечно, быстрее, чем люди — египетское письмо: некая кошечка сетовала на одиночество и отсутствие понимания.

Несколькими капельками собственной росы я сообщил ей о своих взглядах и принципах, о своих воззрениях и надеждах, о мечтах и идеях, о снах и пробуждениях.

Я сообщил ей, что Вселенная разлетается и что это явление подобно вдоху, за которым последует выдох, а следовательно, и сжатие.

Я не стал развивать свою мысль, ибо на это потребовалось бы куда больше росы, что привело бы к искажению стиля.

Излишество подобно заразе. В свое время Марк Аврелий...

— Что ты там делаешь?

Да ничего я не делаю.

Подумаешь, оставил незначительную меточку без цвета и почти без запаха. Излишество, как известно...



МАРК
АВРЕЛИЙ

— А ну иди сюда.

Сию минуту. Нужно выгнуть спину, хвост трубой и торопливой пробежкой с боданием под колено изобразить крайнюю степень истощения по поводу общения. Излишество — есть суть...

— Чего ты там терся о ботинки?

Ну ты же их все равно не будешь нюхать. Послание не для тебя. Что же по поводу излишества...

— Ты что, нассал?!

Вы теперь понимаете, в каких выражениях...

— Я тебя спрашиваю!

А что там спрашивать. Никакого излишества, и ты, с твоим примитивным обонянием... Ну, нюхай-нюхай. Ну, что? Ну, как?

— Не дай Бог нассышь!

Я же говорил, что не нюхаешь. Я же предупреждал. И не следовало тыкаться носом. Вон он у вас весь в сапожном креме, Боже ж ты мой!

— Обувь невозможно оставить.

Интересно, где ты ее оставляешь? Спишь небось на службе, герантозавр. И ботиночки снимаешь. Тут-то кошечка их и находит под твой академический храп. И как же ей при этом не ощущать одиночества?

Как же ей не тосковать.

Ну, да.

Уж мы бы ее утешили.

А сколько тем! Сколько можно было бы при этом развить всяческих тем. Вот хотя бы такая: «Критика: лов перелетных означающих». В указанном труде критика посредством суждения выявляет механизмы порождения и функционирования эстетического объекта.

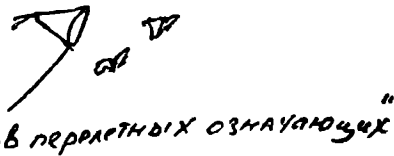
Каково, а? То-то.

И так далее, и так далее.

Сколько тем.

И... то тем, то этим... глядишь, и достигли бы взаимопонимания.

Это я о кошечке и способах утешения.



"лов перелетных означающих"

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ, посвященная призракам

А мой бедняга уже уснул.

Съел чего-то прямо в шинели из холодильника и немедленно стоя уснул.

Боже правый! Просто кляча после забега.

Меня что всегда потрясает: указал, уличил, наорал и расставил всех по углам, после чего немедленно забылся и уснул.

Встал — ничего не помнит.

Скажите, как это у людей получается?

Как получается каждый день начинать с того, чтобы заново быстренько всему обучиться?

О разуме ни слова.

А также ни слова о самоуважении, самоанализе и взгляде со стороны.

Спит.

Не знаю, что они там на службе делают и как можно из человека за день все так вытрясти, чтоб он стоя спал.

Сейчас проснется, доест, разделается и полезет в кровать, где снова уснет, потом вскочит через два часа с растарашенными глазами, схватит будильник и в темноте попытается рассмотреть, правильно ли он установил время подъема, а в четыре утра сходит в туалет.

Он мне так всех привидений распугает.

У меня же бывают приличные призраки: Генрих Восьмой, уморивший любимую Анну Болейн, его дочь Елизавета.

Надеюсь, никому не требуется объяснять и всем известно, что коты общаются с привидениями.

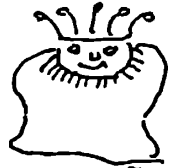
Причем есть привидения люди, а есть — коты.

Последние надоели мне до смерти. Выходят по ночам без предупреждения прямо из стены.

Встреча с ними не сулит человеку ничего хорошего.

Другое дело я. Тени котов я посылаю в Пермь прямо с порога.

И потом читаю в одном паранормальном издании: «В Перми три черных кота вышли из подъезда жилого дома и вошли в стену напротив. После чего три



Генрих VIII



210 2016

экстрасенса, не сговариваясь, всю ночь кукарекали, а депутат Законодательного собрания Волосюков всенародно обещал не воровать».

Да.

Странные, однако же, возникают последствия посещения Перми.

То ли дело Генрих Восьмой. Его интересует только будущее Соединенного Королевства.

— Милый Эдвард! — обращается он ко мне всякий раз, возникая из шторы, так, будто мы расстались минуту тому назад. — Меня не может не волновать существование моих подданных. Ты же знаешь: король обречен на вечные терзания. Ему кажется, что усилия его, в свое время направленные во благо, оказались недостаточными, и теперь его страна не занимает подобающего места.

— Ваше прошлое величество! — отзывается я в качестве «милого Эдварда». — Короли — что вершина арфы: тронь любую струну — и ее содрогания не останутся незамеченными. Короли — это узлы во Вселенной. Множеством нитей они связаны с прошлым, но еще более — с будущим. Но они не виновны в звучании. Они лишь соединяют в себе все нити, чтобы затем распустить их в грядущем.

— Я исчезаю, мой верный друг, прими нашу признательность за утешение.

Вот вам, пожалуйста.

Интересно, почему он называет меня Эдвардом?

Может быть, в прошлой жизни я был советником двора его королевского величества? Во всяком случае, его дочь называет меня Дорианом.

— Больше пиратов! Казна пуста, а посему смерть всем ради величия нации! — Вот вам боевой образец.

И еще она говорит:

— Я поцелую змею, если это будет необходимо. Помните, Дориан, чтоб господствовать на море, все средства хороши. И золота, золота, золота! Мне нужно много золота в корону моего королевства. Будьте с дикими народами еще более диким, с храбрыми более храбрым, с подлыми более подлым. Цель — все, остальное — ничто. Я отпущу вам любые грехи, кроме пренебрежения интересами короны. Идите, и да поможет вам Бог.

Вот баба, клянусь чреслами Геркулеса!

Она появляется сразу же после своего папаши, и речь у нее всегда одинакова: я под видом несчастного Дориана должен немедленно отправиться в путь, чтобы огнем и мечом добыть ей величия.

Представляю себе, что меня ждет, если я ей это величие не добуду. В старой

доброй Англии существовала масса симпатичных способов казни.

Особенно меня трогает заливка свинца в раскрытые уши.

Так, может быть, остаться в России? Тут все так неторопливо и без этой навязчивой радикальности, присущей островитянам.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ,
в которой я примеряю на себя
личину человека

—
АА
ттт
ттт
ттт
с о б а к а

Ах!

Я порой думаю: если б я был человеком, то меня бы укусила собака где-нибудь на территории достославного Совтрансавто, руководимого Семеном Ашотовичем Переверзяном в селении Верхние Шушары.

А я бы подал на них в суд за нанесение морально-физического увечья и этические потери, и судья призвал бы их к ответу, а они бы ответили, что собака была бродячая и забежала на их территорию исключительно ради подобного нападения, а я нашел бы и свидетелей, и лже-свидетелей, а они бы упорствовали, и суд длился бы себе незнамо сколько, а на заседаниях я бы хотел видеть молодых девушек, расхаживающих по залу босиком в

А. Покровский

легких накидках, разбрасывающих всюду
медленно опадающие шелковые платки.

Мне бы не выдали компенсации,
после чего я бы захотел остаться котом.

Быть человеком и из-за этого
ежедневно подвергаться разного рода уни-
жениям — благодарю покорно.



ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Общение с Наполеоном

А не пообщаться ли мне с тенью Наполеона?

Люблю я великого корсиканца вкупе со всем его душегубством.

А все оттого, что невероятно умен и честолюбив.

Он ставил перед собой почти невыполнимые задачи, потому что был колоссом, насильно засунутым в незначительное тело.

Его стесняла оболочка.

Ему вредили границы собственного «я».

Вот откуда все его походы — в Россию, в Индию, в Египет.

Он родился всего лишь человеком, а должен был — полубогом.

Мне скажут, что полубоги не существуют.

Существуют.

Уж будьте покойны.

— Корысть всегда у власти, — скажет мне Наполеон, а я попытаюсь возразить: мол, бывали же случаи...

Он остановит меня:

— Я пригласил вас, мой маршал, не для того, чтобы слушать. Вы должны внимать мне молча. Таким образом, вы сыграете роль поверхности, отражающей мои собственные мысли. Только так я получу собеседника, равного мне по уму. Возвратимся же к алчущим: они стремятся к власти, и они правят.

Как хорошо, что алчность, в сущности, от недостатка ума. Их соединение, а точнее, их союз равносильны катастрофе. Я же правлю по странному стечению обстоятельств. Гений править не должен.

Я не нашелся, что возразить.

Тем более после того, как меня называли маршалом.

Да и не смог бы, наверное.

От этой речи возникло учащенное сердцебиение, сухость во рту и захотелось немедленно встать под чьи-либо знамена или выкушать рыбки.

Ух как захотелось рыбки! Просто небо засосало, зачесалось.

Хорошо бы маринованной осетрины. Даже рот наполняется слюной.

А какая она вкусная! Жуть!

Вот только уксуса нужно совсем
немного, чтобы и коты ее могли есть.



ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ, посвященная формированию событий

Эх, слюни...

Слюни — что слезы: и те и другие внезапны.

А ведь вокруг глубокая ночь, за окнами мороз, и поземка змеится по дороге, и что-то грустно на душе, и я понимаю собак.

Вернее, их продолжительный вой по поводу и без повода.

Призраки давно исчезли.

А в комнате на раме окна у нас образовались сосульки, и еще ее оживляет храп моего хозяина.

Пусть себе храпит.

Ему спать еще часа четыре.

Он храпит, а я должен думать.

Потому что должен же кто-то думать, мыслить, созерцать и формировать наше будущее с болью.

Ведь одним только усилием своего необычайного ума ты соединяешь разрозненные фрагменты еще не случившегося.

А тогда эти фрагменты складываются в событие.

И ты уже перетаскиваешь его в нужное время и нужное место.

Не доводилось ли вам бросать шары, когда одним вы должны попасть в другой?

Вы наверняка помните какую-то особую силу своего взгляда, который словно бы прикрепляется к шару-мишени: его никак не отвести, и точно — брошенный шар ударяет в него.



Вот так и событие.

И для этого нам дана голова, которая после всех этих действий болит.

А хозяин полагает, что она нужна ему для ношения фуражки.

Не будем его осуждать.

Его к этому приучили.

Посредством многих мелких унижений.

— Ы-ы-ы...

Я же говорил вам, что он проснется и посмотрит на будильник.

— Ы-ы-ы...

А теперь он пойдет в туалет...

— Ы-ы-ы...

И уже там, в сортире...
Впрочем, это не важно.
Хотя...

Вот еще что:

Сообщите мне, пожалуйста, как это можно метить в такую огромную чашу и совершенно в нее не попасть; а потом, когда я восседаю в своей тесной кювете, ревниво следить за тем, чтоб я нигде не набрызгал?

Даже задние лапы порой встряхнуть никак нельзя.

Что для кота совершенно неприемлемо.

А сам, между прочим, всегда встряхивает руки, прежде чем вытирает их полотенцем!

Тут, я думаю, речь идет не иначе как об угнетении и насилии.

Над котами, естественно.

— Ну как, нигде еще не нагадил?

Это он мне после ночного извержения по всем стенам.

Видит Бог! Мне удастся при этом сохранить все свое достоинство.

Тому свидетельство исключительные благодушие и доброжелательность.

Сколько раз они были повинны в излишнем доверии к человеческой расе, которая использует что доверие самым отвратительным образом.

Я уже не говорю о том, что в некоторых недоразвитых странах кошек едят.

Вот и мой иногда восклицает:

— А хорош бы ты был, фаршированный грибами!

И не то чтобы меня немедленно охватывает жуть. Нет!

Скорее оторопь, потому как я в тот момент, к примеру, у него на руках и мурлычу.

А как он представляет меня своей очередной возлюбленной:

— Мой экологически чистый завтрак.

После чего хочется разобраться в этимологии слова «муди».

«Муди» означает «унылый».

«Муди роза» — увядшая роза.

Таким образом, слова «мудила конская», «склеротический мудака», «полная тряхомудь» и выражение «до седых мудей» — не что иное, как все стадии раннего отцветания.

И тут есть над чем поразмыслить и пораскинуть своим необычным умом.

Вам известно, кто такой сохатый?

Даже не знаю, зачем я об этом спросил. Может быть, для отвлечения внимания, потому что самое время слинять за диван и там затаиться.

Этимология меня до добра не доведет.

-сод муди → 

Только я подумал об отцветании, как в меня полетел тапок. Может, он читает мои мысли?

Это было бы нехорошо. Это было бы не вовремя, некстати. Это было бы совсем никуда.

Может, нам прикинуться идиотом? Иногда это помогает.

Прикидываются же люди идиотами — и им все сходит с рук.

И здесь уместно вспомнить о вечности.

В том плане, что, если вечно прикидываться идиотом... еще один тапок.

И тут нам поможет глубокое дыхание.

к Полное
дыхание

Оно вернет все на свои места.

Начинается оно с живота он надувается, потом воздух проникает в среднюю часть груди, а затем и в верхнюю.

При выдохе же живот втягивается, а потом от воздуха освобождается грудь через узкую дырочку меж губ. Такое впечатление, что вы собираетесь плюнуть.

После всего этого можно думать о русской грамматике, о месте в ней подлежащему и сказуемому и о безличных предложениях: «Моросило», «Вечерело», «Замело» и «Посинело».

Как все-таки в русском предложении вольготно располагаются все его члены.

Ничто не говорит им: встань тут,
и никуда ты не денешься.

От этого за версту веет свободой
от любых обязательств.

А «Вечерело»? Тут даже подлежащего не отыскать.

То есть некому задать вопрос
«кто, что?»

То есть нет ответственного за содеянное.

Есть отчего прийти в недоумение.

— А ну вылезай из-за дивана!

Сию минуту, вы только за дверь
выйдите.

— Ну погоди! Я тебе устрою сладкую жизнь!

Вот так всегда.

Не дают нам подумать о трудностях,

в частности, русского языка.

Не дают нам составить словарь этих трудностей.

А неплохо бы выглядело название: «Словарь трудностей, составленный К. Себастьяном».

— Я тебе...

Ну? Ну? Побольше сложноподчиненностей в речи.

— ... дам...

И побольше игривости.

— Я тебе (ик!)... по (ик!)... кажу...

Ну вот! Уже лучше.

А. Покровский

И нас посетила глубокая икота,
иноходью переходящая в коротенькое
рыганье.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ, посвященная связям с внешним миром

У всего этого должна быть какая-то связь с внешним миром.

Неэлементарная, надеюсь.

А я вам еще не говорил о клинике и историогенезе бреда при шизофрении?

Ах, какое упущение! Дефицит знаний в этой непростой области поражает.

Обилием вопросов.

Какие это вопросы? Ну, например: необходимость логического анализа всякой бредятины, выявление движущих факторов развития сюжетов бреда и все прочее.

Но что можно сказать об анализе и о развитии?

Слава Богу, очень и очень немного.

И вот еще:

«Космическое» значение каждой отдельной личности и иллюзорность про-

странственно-временной ограниченности человека вновь становятся основой общемировой мировоззренческой философии».

Ну как вам это?

Это все не где попало, а в «Книге Урантии» — 2097 страниц, — которая рассматривается не иначе как Пятое Эпохальное Откровение.

Она призвана удовлетворить глубокую духовную жажду и освободить навсегда интеллект.

И тут стоит заметить, что слабые контуры «Книги Урантии», по свидетельству очевидцев, странным образом стали появляться уже в начале двадцатого столетия, и, надо сказать, так в этом преуспели, так преуспели — просто дальше некуда, просто дальше скудоумие, лизоблюдство и хриstopродавство.

То есть все было непросто.

Достаточно указать на такой непреложный факт, что никто из ныне живущих полностью не понимает, как послания Урантии перевели в рукопись на английском языке.

Вот не понимает и все тут!

А ведь столько усилий.

Столько усилий.

И ведь все в поту — я не знаю, все в поту, к чему ни прикоснись.

Какое это имеет отношение к моему икающему хозяину? Слава Богу, ни-

какого, а то бы пришлось бежать от него сквозь бетонные стены.

А так можно всего лишь спрятаться за диван.

Книгу принесла одна его знакомая, которая до этого момента представляла собой знойную ниву, по которой непрестанно двигался плуг моего хозяина.

Она ее прочитала.

Она была так потрясена, что три дня путала ванну с туалетом и при всяком удобном случае ела мыло.

По этому поводу не обласкать ли нам самого себя?

Снизу доверху, смею надеяться.

Видимо, обласкать.

Хотя бы за то, что меня, а в моем лице и все наше кошачье отродье совершенно не волнует Пятое Эпохальное Откровение, раскрывающееся в «Книге Урантии», составленное многочисленными сверхсмертными личностями, лишшающее человечество начисто всех остатков его мизерного самоуважения.

А все потому, что человеческий разум при всей своей ограниченности постоянно испытывает тягу к еще большему ограничению, контролю, свержению, уничтожению, измельчению в точку, в то время как кошачий разум, свободный от мистицизма, агностицизма и альтруизма, стремится к расширению и к оккупации освободившегося пространства.

А. Покровский

Тс-с-с!

Все, что можно произносить только с оглядкой на летающие хозяйские башмаки.

А то ведь хлобыстнут по темечку, не приведи Господь, и хвост уже сам отвалится.

....

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ, переходная



— Ай-яй-яй! — воскликнул я через несколько дней, пойманный за шкуру в коридоре.

— Ничего не попишешь! — сказал хозяин, сажая меня в сумку. — Мама наша не приехала, и придется взять тебя на корабль, а то я — в море, и кто за тобой смотреть будет? Сдохнешь ведь без меня окончательно совсем.

Человеческой безграмотности и самонадеянности нет предела. Он уверен, что без него я немедленно околею «окончательно совсем».

Оно может быть и так, но только в том случае, если меня запереть без пищи и воды и не научить пользоваться унитазом.

Хотя интересно было бы посмотреть, как он меня будет учить. Ведь, судя

по пятнам на полу, он сам им пользоваться не умеет.

Оставил бы меня дома. Положил бы сухого корма, а вода в нашем биде и так течет тоненькой струечкой — никак не унять, так что от жажды совершенно не пострадаем, а заодно и с клозетом разберемся.



Так нет же! Надо засунуть меня в эту вонючую кошелку и унести на корабль!

Хоть бы дырку оставил, а то ведь совсем ни черта не видно.

И здесь я хочу заметить, что к женщинам не испытываю ни малейшей симпатии. Обещала приехать, чтоб ухаживать за мной, и — на тебе! — не приехала.

Вот они, дочери Геры: эмоции — как у морской звезды внутренности: перед едой все наружу, а порядочности ни на грош, в результате чего я засунут в эту поганую авоську и следую на корабль.



← Гера Представляю себе этот корабль. Если мой хозяин никак не может управиться с собственным членом при мочеиспускании, а также с механизмом слива в туалете, то представляю себе, до чего с такой тягой к знаниям и к технике можно довести несчастное судно.

Неужели оно до сих пор на плаву?

Неужели перед отправлением в море в нем заделали все дыры?

Эти вопрошения наводят на размышления.

После чего можно воскликнуть:
«Ох уж эти размышления!»

К сожалению, все они не имеют ничего общего с истиной и судно может действительно оказаться на плаву вопреки ожиданию, а мои брюзжания — не более чем реакция на вонь и тесноту нашей походной кибитки для переноса свежей редьки.

С философами такое бывает: посади их в клетку — и они станут злобными.

А вот коты только поначалу испытывают дискомфорт, а потом им на помощь приходит шестимерное воображение и они вдруг видят себя перенесенными в пустыни, в джунгли, на лужайку у дома, где много пауков, или к теплой печке.

А хорошо, знаете ли, у печки...

Однако.



Когда же нас вытряхнут из кошелки?

Не успел я пожелать, как нас вытряхнули.

Свет ударил в глаза и заставил сощуриться.

Знаете что, никогда ничего опрометчиво в сердцах не желайте, а то, не дай Бог, осуществится и причем слово в слово.

Возьмут и вытряхнут.

А что, если прямо в воду?

Но тут, кажется, место твердое, хоть и пахнет подозрительно — грифельной смазкой с примесью металла. И вот я слышу:

— Все, Бася, ты на корабле.

Надеюсь, здесь есть тараканы и будет чем скрасить досуг.

Люди уверены, что охота за тараканами доставляет котам огромное удовольствие.

Не будем их в этом разубеждать.

К тому же здесь могут оказаться и крысы.

Никак не разобраться во всех запахах, потому что, чтоб разобраться, нужно неторопливо принюхаться, для чего надо сначала куда-то спрятаться, а вот этого не удастся сделать из-за человеческой суетливости.

— Ну, как тебе моя каюта?

Ну, что тебе сказать. В Верхнем Египте когда-то замуровывали в стену. Так вот помещение было гораздо просторней. И запах... Коней, наверное, держали здесь в седлах...



— Это моя койка!

Ну да, ну да... по-видимому, это должно впечатлять.

От нас явно ожидают восторгов.

А на одеяле, никак не пойму, серете, что ли? Откуда такие ароматы? Неплохо бы все это выстирать, конечно,

хотя... если осмотреться... мда... ничего не напишешь...

В этом плавучем шарабане четыре койки. Они расположены парами — одна над другой — вдоль стен. Ну, ящички-полочки, что-то вроде шкафа... Нужно срочно отыскать акустический узел.

Чую, он должен быть здесь.

Люди о его существовании даже не подозревают.

Жрецы майя о нем знали, а все прочие — нет.

Если отыскать узел, то, расположившись в нем, можно все узнать о предметах, удаленных на расстояние до пятидесяти метров.

С помощью звуков, полагаю. Они исходят, и ты как бы видишь предмет.

Таких узлов всегда несколько, и они обязательно обмениваются информацией.

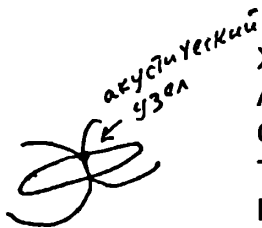
Так что нужно отыскать узел, сесть в него и получить полную картину о нашем грядущем.

А потом люди удивляются: откуда кошки все чувствуют?

Оттуда, откуда вы уже ничего не чувствуете.

А все из-за неправильного питания.

Вот если б люди поедали тараканов — этих бегающих носителей информации...



Но полно... не дождешься, конечно...

Ха!

А узел-то я все-таки нашел.

Он прямо на подушке моего хозяина.

Точь-в-точь в самой середине.

Конечно, стоило бы его как-то пометить, но не думаю, что он придет от этого в полнейший восторг.

Представляю, какие ему снятся здесь сны. Сейчас мы послушаем звуки мира.

Для этого надо сесть и впасть в полудрему.

Так-так-так... тараканов мало, потому что есть крысы.

И они уже знают о моем появлении.

Ну еще бы они не знали — запахи, звуки, и потом мое нахождение в узле искажает исходную картину.

— Бася, где ты?

Бегом с подушки. Что-то я замешкался. Знал же, что он сейчас войдет.

— Ты еще нигде не насрал?

Ой! Мысли-то наши, покорители Вселенной... ну, все-все... о дерьме...

— Пойдем, я покажу тебе туалет.

А то я без тебя не найду.

— Тут боевой корабль, Бася, тут должна быть идеальная чистота.

Ну конечно.

— Ты будешь срать в трюм.

Это так естественно с точки зрения корабельной красоты и чистоты.

— Ну и ссать туда же.

Разумеется.

— Становишься на самом краешке.

Бога ради, только не демонстрируйте, избавьте меня от этого наблюдения...

— А воду ты найдешь в умывальнике...

Отлично.

— ...а спать ты будешь здесь...

Это на пороге, что ли? Ну, ты даешь!

— Как тебе?

Немыслимо. Он все еще полагает, что кот — это собака, которая спит там, где ей показали, то есть рядом с дверью на пахучей тряпке. Не думаю, что человечество скоро очнется.

— Осваивайся, я пошел.

Дверь шлепнула. Люди шумны, потому что по их пятам давно никто не крадется.

Скоренько на подушку — там меня ждет сообщение от крыс.

Через акустические узлы можно передавать подобные сообщения. Для этого нужно знать акустический код адресата.

Все грызуны знают кошачий код. Если б здесь было бы несколько кошек, каждая получила бы свой неповторимый индекс.

Ну, где их послание?

«Приветствуем Вас на нашем борту. Надеемся на взаимопонимание. Мы по достоинству оценили Ваши невероятные способности. Если от нас потребуются жертвы, их качество и количество мы готовы обсуждать. Крысиный комитет девятнадцати».

Ну что ж! Они знают законы. Это приятно.

Крысы ужасно социальные.

У них то и дело возникают содружества.

И уже эти содружества решают, кому жить, а кому нет.

В жертву приносятся всякие малоценные члены коллектива.

При этом неизбежны интриги, на которые хвостатые огромные мастера.

Все это называется «естественный отбор», где коту отводится роль санитара.

↑
содружество
крас

А вы знаете, когда-то человек решил, что сам справится со всеми грызунами, и принялся истреблять котов, как совершенно бесполезных животных.

Это все от нехватки.

Чего-то очень-очень важного.

Это все прежде всего оттого, что не хватает ярких личностей.



А когда их не хватает, плодовые выигрывают.

Словом, крысы победили, и люди вспомнили о котах.

А я вот не люблю коллектив.
 Меня в дрожь бросает от этого слова.

Я как только слышу: «А у нас тут будет коллектив», — и все: мурашки, как блохи, поскакали с головы до хвоста.

Фу, какая дрянь! Фу! Мерзость.

Вот скажите еще раз: «Коллектив!» — ну вот, пожалуйста, опять затрясло простату — ах! ах!

Боже! У меня судороги!

А-га-га! — да меня же тошнит!

Га-га-ахх... из меня уже вышло...

Что...

Ну, как что...

Ну, то, что иногда выходит из глотки кота, если он слишком усердно ухаживает за своей шерстью.

← соррогамие
яичников



— Бася!

Черт! Хозяин! Надеюсь, ничего незаметно, запятая,

поскольку все под столом, точка.

— Ты где?

Я-то? А как ты думаешь?

— Ах, да, я ж тебя запер, а ты этого не любишь.

Надо же так знать кошачью природу.

— Выйдем за дверь.

Вышли.

— Ты находишься во втором отсеке.

Восклицательный знак.

— Здесь умывальник, каюты, выгородка с трюмом, буфетная, кают-компания.

Это не может не поражать.

— Здесь много электрощитов, за которые заходить нельзя, — слишком опасно для жизни.

Он считает меня идиотом.

— Пойдем в каюту.

Ну.

— Я приоткрою дверь, чтоб ты мог ходить в туалет.

Мудро, хотя о туалете печемся, по-моему, слишком часто.

— Уф! — говорит мой хозяин, бухаясь на койку. — Завтра в море, — после чего он замолкает, и на лице его явно выражены некие чувства.

Какие это чувства: прежде всего — голода, страха, тоски, а потом уже — патриотизма.

Я не могу вам ответить на вопрос, почему чувство патриотизма не предваряет чувства голода, страха, тоски.

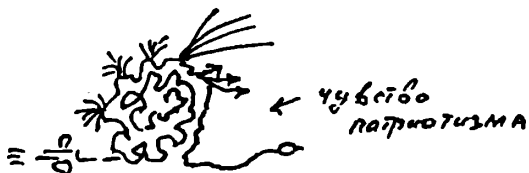
Видимо, на то есть причины, раскрытие которых не входит в задачи настоящего повествования.

Итак, у него на лице чувства, а мы
в этот момент ищем себе убежище.

Мы находим его на шкафчике.

Надеюсь, никто не будет возра-
жать?

— Конечно, — сказал мой хозяин
и тут же заснул.



ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ, замечательная во всех отношениях



← превратности
судьбы

Мда, читатель!

Каковы все-таки бывают превратности судьбы!

Вчера ты еще сидел дома на кухне, где мирно томился, а сегодня с помощью превратностей судьба берет тебя за холку и сует на корабль.

И вот ты уже моряк, кромешная пададь, настоящий морской волк, чирый окружности,

ты плывешь и плывешь, попирая законы гидродинамики,

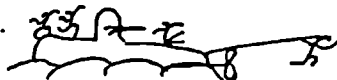
и в то же время ты стоишь на палубе,

а она погружается, всплывает, погружается и всплывает,
и содрогается

по причинам, малозависящим от тебя.

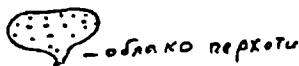
С одной стороны, ты — щепка, соринка, песчинка, а с другой стороны, ты — велик, потому что заодно со стихией.

Словом, ты теперь в океане — и, чуть чего, грызите поручень.



Ну, что я еще-то знаю такого, военно-морского?

А, ну вот: «Не ходите юзом!», «Поверните профили!», «Приготовьте себя и свою маму к использованию!»



— облако перхоти

Нас в каюте пятеро: прежде всего я, мой хозяин и трое его приятелей.

Один из них все время чешется, роняя перхоть на одеяло.

И это не может не волновать.

Я, например, не собираюсь все время пребывать в легком облаке этой шелухи.



Мой хозяин.

Хозяин, по-моему, тоже.

— Тихон! — говорит он ему. — Ну, хорош чесаться!

— А у кота твоего случайно не водятся блохи? — отвечает ему пархатый Тихон, после чего все смотрят на меня.

Возмущению моему нет предела.

Эти жалкие личности, которые не могут себе вылизать даже промежность, оказывается, заботятся об отсутствии на

← паразиты



мне паразитов. Хотя что они знают о паразитах! Паразитах скрытых и явных, внешних и внутренних, накожных, подкожных, волосяных.

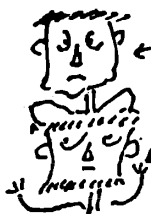
Паразитах, существующих в слизистых рта, носа, уха, промежности. (Тут мне, может быть, скажут, что у уха и промежности нет слизистых, на что я только фыркну.)

Да!

А что они вообще знают?!

— Утлый челн! — хочется воскликнуть, чтобы было с чем сравнить их умственные способности.

Если вас тревожат блохи, сядьте в зарослях цветущей полыни. Блохи не выдерживают ее густого аромата.



Юрик Кстати, страдающим перхотью я так же рекомендую полынь. Сыпьте ее себе на макушку, жуйте — очень помогает.

Шурик Особенно при отсутствии ума.

Двух других зовут Юрик и Шурик, и, используя их как живой пример, я со временем отвечу на вопрос, почему я когда-то заговорил про прорезиненный анус.



ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ, подготовительная

А между тем мы никуда не плывем, хотя все к тому готово, — шум, топот, бестолковая беготня, крики, поиски кого-то очень нужного при перешвартовке, стук инструмента, падающего на палубу, хлопанье дверей служат тому могучим подтверждением.



Из каюты мгновенно все пропали. Послышался крик: «По местам стоять! Корабль к бою и походу приготовить!»

↑
«приготовлении
КОРАБЛЯ»

Ах, вот оно что!

Значит, сначала нужно «приготовить» корабль, а потом уже отплывать!

Меня это чрезвычайно заинтересовало. Как же они будут его готовить, и как они будут отплывать? Они будут его включать, что ли, разогревать, или что они с ним будут делать?



Захотелось взглянуть.

Тут я вдруг обнаружил одно окошко, через которое легко можно оказаться в отсеке, заняв наблюдательный пункт.

Отсюда виден вахтенный и слышен голос, рекомендующий им приготовить корабль.

«Осмотреть кабельные трассы, системы ВВД, гидравлики, забортной воды, фильтры ФМТ-200Г!»

Ну-ну.

А вы знаете, по моим скромным наблюдениям, вахтенный никуда не движется.

Знай себе сидит и докладывает: «Осмотрены кабельные трассы, системы ВВД, гидравлики, забортной воды, фильтры ФМТ-200Г, замечаний нет!»

Странная, однако, у них подготовка.

Не успел я так подумать, как слышался гул, а потом вдруг как ударит по всему телу и по ушам — можно было усраться!

А это — «продули носовую группу цистерн главного балласта».

Я немедленно проверил себя, но моя природная стойкость и все такое прочее...

Словом, все оказалось в порядке, и я сейчас же ощутил всю торжественность момента.

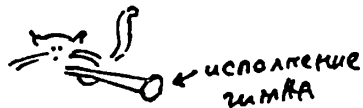
Я, по-моему, даже вытянулся в струнку и затянул про себя шотландский гимн: «Тарам-та-та та-та-рам, тарам-та-та та-та-та-там!» — и в этот момент появилась королева Елизавета.

Точнее, ее призрак.

Думаю, что шотландский гимн она все же не слышала, а то б тут такое началось...

— Дориан! — прошелестела она. — Нам снова нужны деньги! Господство на море стоит много. Флот — дорогая игрушка, но я добьюсь своего, Англия будет господствовать! Сэр! Разденьте пуритан, католиков, евреев! Разденьте всех. И еще. Придумайте, наконец, какую-нибудь общенациональную идею. Ибо для чего еще нужна такая идея, как не для того, чтобы залезть в карман к нации. И больше пафоса, дорогой, больше! Обчищая ближнего, в качестве врага нужно указать на дальнего...

Она исчезла.



Фу-у-у...

Больше всего меня заботит то, что когда-нибудь Дориан не достанет ей денег, а под руку подвернусь я.

Даже дрожь и дыбом шерсть.

Нужно заканчивать петь шотландские гимны.

До хорошего они не доведут.



ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ, рассудительная

Ах, читатель!

Заметили ли вы, как изменилось мое письмо? Из спокойного, могучего рассуждения, способного скрасить долгие, завернутые в теплый плед, зимние вечера у камина, оно сделалось коротеньким и очень нервным.

Вот что значит попасть на корабль.

Вот что значит войти в этот сумасшедший... ритм...

— Где мои ботинки?!

Это Шурик — один из нашей каюты. Он вбегает, как ненормальный хватает свои ботинки, обувает их сначала не на ту ногу, а затем на ту и куда-то убегает.

При таких скоростях мне никак не удастся ощутить пафос происходящего.

На чем я остановился?

Ах, да! Представляете, так я все-таки иду в море на корабле!

Кажется, я уже говорил, что он еще и под водой плавает.

— Где мои ботинки?!

Теперь это Юрик.

Интересно, они так и будут впредь бегать сначала без ботинок, а потом с ботинками?

Ведь если все время куда-то мчатся, то потом никак не разобраться в своих чувствах.

Надеюсь, они все еще что-то чувствуют.

Да и я тоже чувствую.

Черт знает что — тоска какая-то.

Видимо, пора появиться Генриху Восьмому.

— Мой верный друг! — он вышел прямо из шкафа. — Отечество зовет нас исполнить наш долг. Нам есть чем гордиться. Нам есть что защищать. Обнажим же наши мечи. Склоним головы. Помолимся. Сначала Англия, потом весь мир!

А что скажет Наполеон?

— Мой маршал! Отечество может быть только в прошлом и в будущем, но никогда в настоящем. Революция похожа на любовь. Ожидание ее сродни сердечному томлению. Ее приход — половой акт, где девственнице позволено сделать



выбор между болью большой и не очень большой. Я был вынужден уничтожить всех своих соратников — они помнили мое революционное детство. Я уничтожил их, чтоб родились маршалы Франции. Это они перенесли Отечество из прошлого в будущее. Они перенесли, а думал за них — я.

Все пропали, а я ощутил легкое покачивание — мы оторвались от пирса.

Ну, что ж, в море, господа!

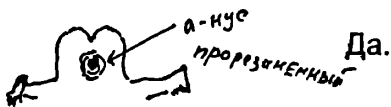
Дайте же мне вытянуться в струнку!

Дайте же мне замереть!

Барабаны, вперед! Горнист, играй «Зарю»!

Грудь моя переполняется...

Только бы опять не запеть, а то появится какая-нибудь тень Ришелье — что мне с ней потом делать?



Теперь самое время поговорить про прорезиненный анус.

Интересное, знаете ли, получается дело: как только вокруг тебя разворачивается некоторая торжественность — так сразу же тянет поговорить о чем-то не совсем обычном.

Например, об анусе. Пушкин называл его «афедроном».

И я думаю, что это нормально. И то, что он — анус, и то, как называл его Пушкин.

Александр
Сергеевич
→ 

Просто невозможно долгое время существовать в состоянии повышенной томности. Все время тянет снизить накал страстей в пафосе происходящего.

Так вот про анус, в недалеком прошлом афедрон!

 афедрон

Он — неотъемлемая часть моих теперешних товарищей по каюте.

Помните, я обещал им заняться?

И прежде всего я хотел сообщить, почему считаю его прорезиненным.

Это очень просто.

Я считаю его чрезвычайно выносливым и износостойким, а пределом выносливости и износостойкости мне представляется только резина.

Некоторые найдут эти мои рассуждения чересчур тривиальными, подозревая меня во всяких скабрёзностях, но я буду стоять на своем: только резина.

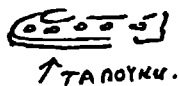
Видели бы вы, сколько ее здесь. Она полностью покрывает корабль снаружи, и ее тьмущая пропасть внутри: амортизаторы, прокладки, перчатки, коврики, шланги, оплетки — она всюду. По ней хо-

дят, рядом с ней едят, на ней спят. Здесь она — земля, вода, воздух.

Именно поэтому я полагаю, ее можно использовать, образовав прилагательное для описания выносливости и стойкости ануса моих сегодняшних собратьев. Он, судя по выражению их лиц, много чего претерпел.

И прежде всего речь идет о падениях.

Вы просто не представляете себе, сколько раз в день они падают!



А все оттого, что на ногах они носят кожаные тапочки, а те, чуть где вода, скользят, как салазки, и потом — хлоп!

Позвоночник бы давно высыпался в трусы — как здесь говорят, — если бы не известные свойства их удивительного зада. Именно из-за этих свойств их продолжают снабжать тапочками на кожном ходу.

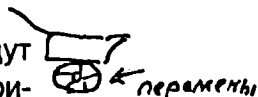
Хотя в последнее время, я думаю, с указанной обувью произойдут революционные изменения.

Перед самым отплытием от пересыпанного перхотью Тихона я услышал историю о генерале, который захотел по-

бывать на одном боевом корабле. Его бросились отговаривать: мол, вы знаете, у них там такое, а он ни в какую — хочу. Тогда на него надевают те самые тапочки, он ступает на пирс после дождя и-и-е... брыз! — вставил-таки мой хозяин в этот рассказ несколько слов — падает на свой старческий копчик, после чего какое-то время балансирует на нем, совершенно засунув его в собственную жопу, — замечание шелудящегося Тихона, а потом со всего размаха — хрясть, затылком о железо — и голова отделилась от туловища.

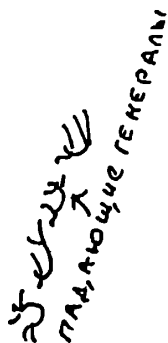


Так что концепцию тапочек ждут большие перемены. К этому выводу пришли все участники нашей беседы. Эти перемены немедленно повлекут за собой постепенное ослабление и даже преобразование свойств описываемых анусов (итог моих наблюдений), о чем, я полагаю, не могут не сожалеть авторы военной доктрины, для которых любое посрамление боеготовности не проходит безболезненно.



Но!

Падающие генералы суть движители общественного прогресса — с этим уж ничего не поделать, а прогресс ведет к ослаблению естества — тут уж ничего не попишешь.



Словом, немалые преобразования нас ожидают впереди.

Вот!

Об анусе я закончил.

И если у вас есть что-либо добавить — милости прошу, но меня увольте, увольте, сыт по горло.

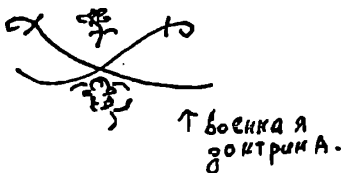
Разве что еще одно замечание: если для того, чтоб поменять тапочки, нужно укокошить генерала, то такая армия, невзирая на потери, должна с ходу брать города, господствующие вершины и артезианские колодцы.

Ей все нипочем.

Вот какие выводы можно сделать, понаблюдав, как они приземляются на свой прорезиненный афедрон.

Если же вам по силам другие выводы, я их с удовольствием выслушаю.

А? Что? Ну-ну...

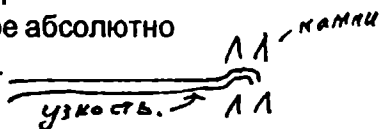


ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.

«Оторвались»

«По местам стоять: узкость проходить!»

Ах! Мы все еще на корабле. Наши рассуждения про всякое такое абсолютно заслонили текущие события.



«Есть, десятый!..»

"1-й" ... "2-й" ... "10-й".

Интересно, что там делает вахтенный? Как он будет «по местам стоять» и в то же время «узкость проходить»? И потом, что такое «узкость»? Стоит, мне кажется, выглянуть и посмотреть.

Черт возьми! Он же ничего не делает. Сидит и докладывает: «Во втором по местам стоять: узкость проходить».

И сейчас же задуло, задуло...



«Снимается давление в лодке, осмотреться в отсеках!»

Вахтенный на месте, но он ничего не осматривает. Ему сказали: «Осмотреться!» — а он ни гугу. Мне нужен Ньютон, чтоб он мне все объяснил.



Где у нас Ньютон?

— Мой дорогой Лейбниц! — кстати, я впервые вижу Ньютона. Возникнув из шторы над койкой, он на ходу меняет свои очертания. — Как говорил Архимед, все в этом мире есть математика.

Стоило ли вызывать Ньютона для того, чтобы узнать, что там когда-то сказал Архимед?

— Люди, их отношения между собой, все, что они делают или забывают делать, — все это суть алгебраические выражения, куда в виде упрощенных символов могут быть подставлены конкретные личности. И тогда события прошлые или грядущие можно будет узреть со всей очевидностью.

Ньютон исчезает.

Мда. Думаю, он нам больше не понадобится. Нагородить такое от имени Архимеда!..

Видимо, мы так и не узнаем, что такое «узкость».

— Узкость — это проход между камнями, — это сообщение от крыс, посланное через акустический узел.

Вход в базу со стороны моря очень узок. Он напоминает горло. Справа и слева высокие камни. Центральный предупреждает вахтенных в отсеках. Он говорит им: «По местам стоять...» — что означает: «Будьте внимательны», а они отвечают: «В таком-то по местам стоят...» — что означает: «Мы наблюдаем за всем очень внимательно».

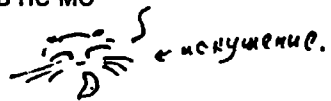
— А кто такой «центральный»?

— Это пост в третьем отсеке. Он командует всем кораблем.

— Благодарю за разъяснения.

— Не стоит благодарности. Всегда готовы все здесь объяснить. Кстати, над вами буфетная. Мы достали вам сыр и кусочек мяса. Все положим перед той форточкой, в которую вы уже выходили. Может быть, вы захотите позавтракать.

— Ваша осведомленность не может не поражать.



Крысы за мной наблюдают.

Это нехорошо.

Это беспокоит и тяготит, это вводит в искушение и заставляет сожалеть...

Они слышат мои мысли, когда я нахожусь в акустическом узле.

Это валтузит. Меня.

Чуть в сторону — и можно не опасаться подглядывания.

А вот пищу нужно проверить. Она может быть ядовитой.

В обществах, подобных крысиному, вероломство не является чем-то зазорным.

Там оно так естественно.

К счастью, я многое знаю о ядах, и провести меня нелегко.

К тому же обоняние у крыс хуже кошачьего.

Те, кто питается падалью, тонким вкусом не отличается.

Сейчас разберемся.

Пища там, где и обещано, и выглядит привлекательно. Никаких цианидов и всякого такого.

Значит, меня прикармливают.

Что ж, прикормить врага — избежать войны. Это мудро и вполне в духе крысиной идеологии.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

На пороге — хозяин

— Фу! — дверь с грохотом отъезжает в сторону, на пороге — хозяин.

— Оторвались! — выдыхает он, после чего валится на койку. — До погружения еще минут двадцать, так что можно поспать.

Он немедленно засыпает.

— Блядь! — после него появляются Шурик с Юриком, которые тут же, вместе с ботинками, оказываются на своих лежаках.

Не хватает только Тихона с его себореей. Где же наш Тихон?

— Тихон на вахте, скотина! — отзывается с койки мой хозяин, так и не приходя в сознание. — Бдит, бандит! — произносит он, горестно вздыхает, после чего устанавливается тишина.

У меня шерсть на затылке торчком торчит.

Я вам хочу заявить, что после таких вот врываний в каюту можно в капрофага превратиться.

Шерсть ну никак не уляжется. Уговариваешь ее, уговариваешь, говоришь ей: «Ложись, моя милая, ложись, моя хорошая...» — а она не ложится.

Я тронусь с ними скоро, умом поеду, рехнусь, чокнусь, взбреньдю, взбеленюсь, обчухонюсь, затаратоню, съем заношенные носки.



↑
Зигмунд
в молодости



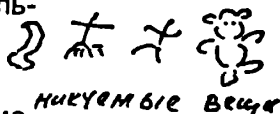
↓
это торшок

Как говорил Зигмунд Фрейд, коллекционер «непристойных звуков» и гримас: «Мысли и переживания здесь слиты воедино».

Думаю, жителю Вены будет излишним объяснять смысл принципа гшнаса. Он заключается в том, что из окружающих комичных и никчемных вещей создаются уникальные и изысканные предметы — щит из кастрюли, например, или сердце из соломы.

Психопаты Фрейда, должен вам заявить, чтоб на некоторое время оставаться в своем уме, наряду с реальными историями своей жизни подсознательно выстраивали в своем воображении страш-

ные и извращенные события, которые они выводили из самого невинного и банального материала повседневности.



Все это от излишества, от размерности, от спокойствия.

Все это оттого, что там, в блистательной Вене, можно положить ложку с яствами остороженько в собственный рот и подумать и о них, и о том, как ты кладешь в рот, и во имя чего ты кладешь, и при каких условиях, а потом уже насладиться вкусом.

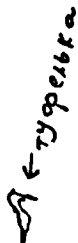
Нам же, чтоб не свихнуться на фоне этой нашей действительности, минуя страшные, гнусные и даже уродливые события, которыми она изобилует, из заурядных и неприметных обстоятельств следует создавать прекрасные, убедительные картины, не говоря уже о том, что если что и попало в рот, то ни о каком наслаждении и речи быть не может.

— Где этот блядский кот?!

А вот и шелудивый Тихон, сменившийся с вахты.

Знаете, будь я женщиной, я бы не стал с ним в карете с головокружительной быстротой объезжать все страны Европы.

Я бы плюнул ему точно в темечко и растер бы все это ногой, обутой в изящную туфельку.



После чего я бы выпал в форточку.
Что по этому поводу говорит классик?

Классик говорит: «...вы редко встретите в этом королевстве человека выдающихся способностей... то ли дело у нас: вы либо великий гений, либо набитый дурак...»



Хочется добавить: «...При совершенном отсутствии промежуточной ступени».

Так что от Тихона я удрал в форточку, а то что еще придумает эта немытая головушка.

«По местам стоять к погружению!»

Сейчас же все пропали. Еще секунду назад они спали мертвецким сном, а с этой командой, как чумные, сорвались с коек и ломанули в дверь.

Последним выполз Тихон.

Он спросонья все твердил про их общую маму и грозил ей разнообразными извращениями.

Морис Бланшо, с произведениями которого так легко отдыхается из-за теплоты коленкора, по поводу мамы Тихона высказался вполне определенно: «Жизненных сил хватает лишь до определенного предела».



Вы спросите:

— И где же здесь мама?

А мы ответим: мама вспоминается на пороге предела.

— И что же потом? — спросите вы.

Потом устанавливаются другие пределы.

Какое-то время они еще сохраняют память о предыдущих пределах, но потом жизнь совершенно ее стирает.



«Осмотреться в отсеках!»

Ага! Значит, мы уже погрузились.

Кстати, ничего, кроме какого-то невообразимого шума ворвавшейся куда-то воды, ничего не было слышно.

И вот теперь наступила тишина, ровная, как стол, а ты на этом столе — шарик, потому что все так тревожно и ненадежно.

И тут в темном углу каюты, в этой самой абсолютной тишине, я увидел глаза.

Кроме глаз, там ничего не было.

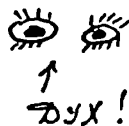
Волосы мои ожили, зашевелились.

— Кто ты? — я не узнал своего голоса.

— Я — дух этого корабля, а ты — кот Себастьян. Я о тебе знаю от крыс.

— Ты — дух корабля?

— А что в этом такого? У каждого корабля есть свой дух. Бывают духи гордые, смелые, чванливые, а бывают — робкие и болезненные. Те корабли, у которых болезненные духи, быстро погибают.



Правда, гибнут и те корабли, у которых гордые и смелые духи, но скорее от самонадеянности, чем от болезни. Оглянись вокруг. Разве эти жилы с электричеством не нервные окончания живого животного тела? А трубопроводы — не кровеносные сосуды?



↑
гордый дух.

Подъемники — мышцы. Главный вал — становой хребет. Рули — ласты. Винты — хвост. У всего этого должна быть душа. Как ты полагаешь?

— Да, но... и как же тебя зовут?

— Меня зовут дух. Можно с большой буквы. У меня видимы только глаза, да и то тогда, когда я хочу их показать. Скажи, после погружения ты почувствовал тревогу?

— Да.

— Это я ее передал всем. Для усиления бдительности. А еще я могу вселять уверенность. Все зависит от моего настроения. Вообще-то я бодрый дух, но, если мне грустно, могу навевать грусть. Вы же все все-таки внутри меня, и если внутри меня грусть, то как же от нее защититься? Ты мне нравишься, Себастьян. Одному настоящему гению нравится другой настоящий гений.

— Так не всегда бывает.

— Так бывает всегда, если гении настоящие. Если захочешь узнать что-либо о корабле и его обитателях, вызови

меня. Не спрашивай у крыс, они могут тебе солгать.

— Как тебя вызывать?

— Так же, как и Наполеона. Скажи только: «Дух». Я прощаюсь с тобой. Сюда идут. Это твой хозяин и Юрик. С людьми никогда не говорю. Суеверны. Еще в штаны ненароком наложат.

Глаза пропали, и я услышал шаги. Они приближались.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.

Люди обо мне

— Бася?! Ты где?

Дверь поехала в сторону. За нею едкий людской запах, потом хозяин и Юрик.

— А-а-а... вот где наш Бася! Юрша!
Смотри, какой у нас боевой кот!

— Он от страха еще не сдох?

— Сам ты сдох от страха! Бася — настоящий военно-морской бандит. Он нам в каюте будет создавать уют и психологический микроклимат.

— Микроклимакс он будет создавать. Пусть лучше с крысами разберется, а то они у старпома вчера весь китель съели.

— Это оттого, что старпом приказал усилить с ними борьбу. А любое усиление борьбы сопровождается потерями одежды.



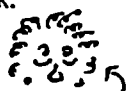
↑
уют.

В каюту входит Шурик.

— Как котяра перенес погружение? Не облысел? — спрашивает Шурик.

— Пока не облысел.

— Ничего, еще облысеет.



Все военные мне кажутся на одно лицо. Во всяком случае, думают они одинаково. Вот Жан Боттеро в свое время...

ЖАН БОТТЕРО

— Хватит болтать! Еще целый час можно спать.

Сейчас же все падают в койки.

Мгновенно наступает тишина, если не считать шума вентилятора. Вот Жан Боттеро, смею заметить...



ЗАТ
ОК
И
В

— Тащ ка... тащ ка...

— А?

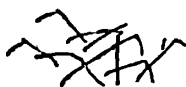
Перед койкой Юрика возникает человек. Это вахтенный. Он тербит Юрика за плечо.

— Тащ ка...

— А?

— Вас в отсек к комдиву.

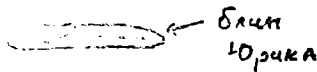
— О-о-е-е... блин... — шепчет



СОЛОМА
ЭДМОНА ДАНТЕСА

Юрик, потом он сползает с койки, как Эдмон Дантес с соломы в замке Иф, и исчезает за дверью.

Или пора поспать, суки. Я думаю, именно так сказал бы Жан Боттеро...



Блин
Юрика



ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ, посвященная чувству защищенности

Половое созревание, ожидание, голодание, поиски партнера, незамедлительная эрекция и вольный коитус — все это не имеет ничего общего с тем чувством защищенности, которое возникает в короткие периоды жизни, когда можно, свернувшись в клубок и сузив зрачки в щелку, смежить веки и уткнуться носом в свой собственный хвост.

И по всей поверхности тела разливаются волны тепла.

Я полагаю, что именно так возникает чувство уверенности в завтрашнем дне.



Люди ведь тоже ищут уверенность. Они ее хотят. Они ее алчут. Они ее жаждут. И вот мой спящий хозяин накрывается с головой. Юрик подтягивает коле-

ни к подбородку. Шурик мямлит во сне.
Пархатый Тихон стонет себе под подушкой.

Ничего не попишешь, уверенность нужна всем.



← спящий
Юрик

Да, да, да, она нужна всем.

Крысам, духам, привидениям, ко-
раблям, тараканам.

Ракам, рекам, горам, морям, звез-
дам, планетам, океанам.

Холодок, приносимый заработав-
шим вентилятором, шаги вахтенного, хло-
панье дверей способны на какое-то время
внушить неуверенность, но потом эти звуки
стихают, и начинает казаться, что все в этом
мире в конце-то концов установится само
собой, и так от этого хорошо, так хорошо от
этого, Господи! что я бы расплакался, я бы
даже разрыдался, будь я человеком.

Но я кот, у меня другое биологи-
ческое назначение.

У меня такое биологическое назна-
чение, что порой не до рыданий, порой —
вот, как сейчас, неожиданно, вдруг, — внут-
ри нарастает невыразимая мука, сладкая
боль, и я изгибаюсь всем телом, вздрагиваю
крестцом, распластываюсь, меня тянет к зем-
ле, можно сказать, к почве, к собственным пер-
воистокам, и потом из меня вырывается зов.



← НЕ ВЕРЮЩИМ
МУЖИКАМ

— Только, блядь, не это! — гово-
рит мой хозяин, и я понимаю, что мне пора
в форточку.

Воздержание, друзья мои, для котов совершенно невозможно.

Нужно немедленно найти предмет излияний, найти что-то, что может убедить меня от преждевременной кастрации, если я буду докучать хозяину своими призывами. (У меня тяжело со стилем, но сейчас просто некогда.)

Тряпочку, что ли, или муфточку. Что-нибудь шерстяное, я полагаю.

Что-нибудь незамаранное.

И я это нашел, представляете?!

Это кроличья шапка шелудивого

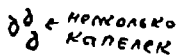
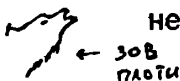
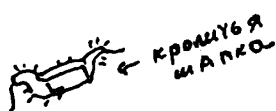
Тихона.

Я немедленно ею воспользовался, я уволок ее из каюты, я месил ее передними лапами, я вздрагивал, я урчал, я урчал, я урчал, пока не совершил над ней акт, после чего проникся к Тихону самыми нежными чувствами.


Зов плоти, знаете ли, всегда так неожидан.

И уж поверьте, что просто так — ни за что... никогда...

А как все-таки интересно все происходит: в тот момент, в момент гона, ты просто зверь, просто тигр, просто рептилия, просто животное, но потом, после нескольких исторгнутых капелек, ты великодушен, ты гуманен, ты необычайно легок, ты красив и более человечен, чем сам человек во время всех этих дел.



ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ, посвященная еде

 ← Трюфели
в поле

«Второй смене приготовиться на вахту!»

А чего бы им не пойти и не приготовить?

Пошли бы все, и все бы готовились.

Вот как Тихон — встал и ушел.

Вернее, его ушли. То есть пришел вахтенный, как черт из параллельного мира, и утащил Тихона.

Юрик, как было сказано, пропал еще раньше.

В каюте остались хозяин и Шурик. Эти спали, как трюфели в поле.

«Второй смене построиться на развод!»

Ну да, конечно, знать бы еще что такое «развод»?

— Развод — это инструктаж перед заступлением на вахту.

У меня опять встает шерсть. Кто со мной разговаривает?



— Это я, Дух.

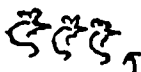
— Ты слышишь мои мысли?

— А чего их не слышать, если все

идет своим чередом и я не очень-то занят делами. В каюте спят люди, и поэтому я не открываю глаз. Скучно мне, Себастьянушка, вот я тебя и навестил. А тебе пора давить крыс. Кстати, они рядом с твоей форточкой проложили маршрут для прогулок. Своего дома престарелых ветеранов. Надеются, что ты сократишь их расходы на социальные нужды. Задавишь парочку крыс-старушек, удалившихся на покой, съешь их окорочка, а остальное через вахтенного предъявишь старпому. И твое положение на корабле несказанно упрочится. И крысы не в накладе — им не надо водить бабушек на прогулку. И вообще полная утилизация старшего поколения — как это по-крысиному верно.



ДОМ
ВЕТЕРАНОВ



крысы-старушки

И, вы знаете, я так и поступил: вышел и задавил старушек.

А потом съел их окорочка, потому что вот уже почти сутки, а у меня ни маковой росинки во рту, если не считать той малости, которую мне принесли из буфетной все те же крысы.

Временами я не понимаю своего хозяина. Если уж завел меня сюда, то и корми.

Не я же выбирал себе этот изгиб судьбы.

Ответственные за изгиб, по моему мнению, и должны заботиться о пропитании.

И о процветании, я полагаю.

Ведь что такое процветание, как не пропитание?

И это что за пропитание, если оно не ведет к неукротимому процветанию?

Обо всем этом стоит задуматься сразу же после того, как ты съел старушечьи окорочка.

После чего приходят мысли о России.



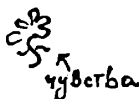
Ах, Россия, Россия, долготерпица, разлеглась, разбрелась ты во все стороны, раскинулась, полегла куда попало, и тайга, и просторы, и дали... дали-дали-дали...

Куда ж ты скачешь теперь, куда несешься, ни с того ни с сего вдруг поднявшись, как сказал бы сперва Гоголь, потом Салтыков-Щедрин, потом Пастернак, потом Василий Шукшин.



Салтыков -Щедрин.

Что с тобой, милая, здорова ли ты головой, все ли у тебя вовремя, или опять колобродишь, брюхатая какой-либо безумной идеей...



Разволновался я, даже горло... звуки, я не знаю.

Так нельзя.



А все потому, что Россия... нет, нельзя... сопли, чувства... пойду, пойду задавлю еще старушек.

Пошел и задавил.

«Второй смене заступить!»

А старушки, кстати, ничего... мда... ничего... к ним бы еще проросшего овса... да... ну да ладно...

«...по боевой готовности номер два... вторая боевая смена...»

Сейчас вахтенный найдет то, что осталось от моих бабулек.

«От мест отойти».

Они давно отошли. А выражение-то у них какое было трогательное.

Чего, впрочем, все и добивались — благостного выражения в свой последний час. Тебе делают гадость, тебя, можно сказать, убивают, а ты должен все это любить.

Приходит некто, косматый: «Я, — говорит, — тебя все равно кокну, но ты меня — изволь».

И ведь любят, черт их, говорят спасибо за заботу. Твой бутерброд говорит тебе: спасибо за заботу.

«Первой смене приготовиться на завтрак».

Ничего не понял. Первая смена будет завтракать или завтракать будут первой сменой?

— Себастьян.

— А?

— Это Дух.

— Ну.

— Ты умом тронешься, соображая, кто кого в этом мире ест. Нельзя жизнь подносить вплотную к глазам. У нее, как у паучьего рта, омерзительный вид. Кто знает, может, это я вас давно съел и именно поэтому вы мне приятны?

«Кают-компания, завтрак готов?»

«Так точно!»

— Видишь? Готов завтрак. Ешь и ни о чем не думай.

И я съел.

Еще старушек.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

После старушек хочется пить.

А потом, когда напился, хочется открыть наугад какой-нибудь философический текст и прочитать: «Первая часть простирается в поступательном направлении от бессознательных сцен или фантазий до системы Пыс».



← Заросли
мельпомены

После чего хочется закрыть, потом рыгнуть, потом сказать: «Каково?!»

— Сейчас будет пожар.

— Что?

— Пожар, говорю, будет, заросли Мельпомены!

— Какой пожар? Где? Дух, это ты?

— Это я. И незачем бегать по полкам. Вон и крысы совершенно разволновались, что и правильно. Я все еще не открываю глаза, и это так естественно, потому что люди...

— И ты так спокойно об этом говоришь?

— О чем?

— О пожаре.

— Ах, об этом. А чего волноваться, если я сам им его и устрою. На камбузе на раскаленную плиту выплеснется растительное масло. Ох, и полыхнет!

— Господи!

— Спокойно! Людям нужны подобные встряски. От беспечности они мудеют. Установим для них на три последующих дня период необычайной бодрости. Если их постоянно не шпынять, они меня, чего доброго, на самом деле спалят. Или утопят. Ну, я пошел. Сейчас мы их потревожим.



← горит фактически

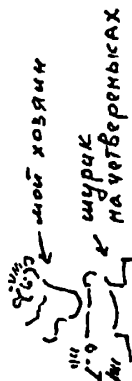
«Дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь! — раздается в отсеке. — Аварийная тревога! Пожар в четвертом отсеке! Горит фактически!»

Никогда не видел, чтоб мой хозяин и Шурик, о чьем существовании я начал было забывать, так быстро ожили.

Шурик даже упал на четвереньки, пытаясь обуть тапочек, и так выполз из каюты.

По-моему, мой хозяин сидел на нем верхом.

А интересно все-таки, почему объявили, что «горит фактически»? Разве может гореть теоретически?



— У них может. У них все может. Они так объявляют, чтоб не подумали, что идет учение.

— И что теперь?

— Теперь герметизация отсеков, поиски средств защиты, тушение пожара и прочее, прочее...

«Второй к бою готов!»

— Видишь, как хорошо!

«Задра... ено... загермети... зи... ро... тушится пожа...»

— Немного нервничают, тебе не кажется?

— И что теперь?

— Сейчас все потушат.

«Потушен пожа... Отбой тревоги!»

— Заикаются, полагаю. Но это ничего, ничего. Это не страшно. Это пройдет.

Ну, я пошел, Себастьян. Встречай помолодевших героев.

Дверь в каюте с визгом уезжает в сторону. Появляется хозяин. За ним входит Шурик.

Последний не на четвереньках, и это радует.

Оба возбуждены и хороши.

Оба сияют.

Мой хозяин изрекает:

— Это коки-уроды! Качнуло — и масло пролилось, — тут он замечает меня:. — О! Кот! А ты откуда здесь взялся?



коки-уроды

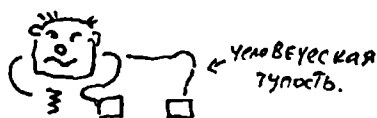
Вы знаете, слов не подобрать, чтоб все то описать, но через мгновение его осеняет, и он бьет себя ладонью по лбу:

— Елки зеленые! Вот отшибло! Я же сам тебя приволок! — после этого хозяин начинает хохотать. Ему вторит Шурик.

Я думаю, тупость человека появляется именно здесь.

Именно в этом.

В подобных мелочах.



Его тупость в хохоте, в подбородке, в запахе, в поте.

И она от него отделяется. Я просто физически вижу, как она отделяется.

И летает по каюте.

А я пригибаюсь, я распластываюсь — вдруг в меня попадет.

— Точно такой же случай, — говорит между тем мой хозяин, — произошел с моей коровой Машкой!

Это, стало быть, шутка, и она вполне в духе последних событий.

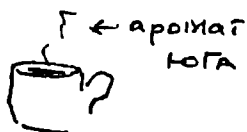
— Ой, коки мои, коки, — продолжает он, — мать вашу... На экипаже Петрова эти бараны мыли лагун после супа и упустили туда мыльную тряпку. А лагун мыли, конечно же, для того, чтобы чай заварить. И заварили его вместе с тряпкой. Потом в кают-компании на вечернем чае

старпом отпил из своего стакана чуть-чуть и говорит: «Мда! Нет аромата юга». После чего все тоже сделали по глотку и — хорошо! А минер выпил один стакан и попросил добавки. Когда выяснилось, что там тряпку заварили, у минера спросили, чего это он два стакана выпил. «Из-за какой-то тряпки я буду менять привычку?» — был им ответ. О чем это говорит? О качестве минного офицера! Ой, сердешные, не могу!

Хозяин валится на койку.

Шурик тоже.

Оба плачут.



Я ошибся — это они так смеются.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ.

О смехе



Так вот об их смехе.

Так нельзя.

Это просто невозможно.

Неприлично.

Это просто совсем никуда.

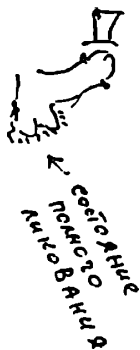
Когда я впервые услышал, как смеется мой хозяин, я подумал: что-то взорвалось, истребилось, гнусно квакнуло, потом лопнуло, потом замерло, потом разразилось, потом покатилося.

Я был совсем крошкой, чуть обкакался и остался верен этому чувству на всю жизнь.

То есть я остался верен чувству осторожности.

К людям, когда они так смеются.

Потому что все же может произойти от этих взрывов внутри.



В частности, сидящий у них на коленях может лишиться и ума, и стыда одновременно.

И потом, хохот после пожара всегда так неожидан.

Я бы даже сказал, вульгарен.

Как, впрочем, и все шутки моего хозяина.

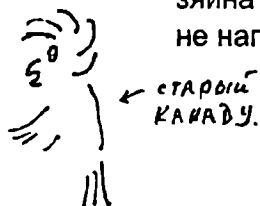
Вот вам образчик: по утрам, соскребая щетину у зеркала, он может заорать: «Что?! Бунт на корабле?! Всем оставшимся в живых нюхать мою пипиську!»

При этом у него вид сумасшедшего — толстый от естественных усилий природы, он становится еще пышнее, дышит, ноздри раздуваются, глаза лезут из орбит, а на затылке встает хохолок, как у старого заарканенного какаду.

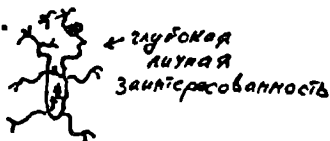
То есть все атомы его существа находятся в том состоянии полного ликования, в каком пребывают только взнуздавшие друг друга влюбленные мухи.

(Кстати, я не знаю, почему у него на затылке встает хохолок, но готов поклясться, что не от шевелений разума.)

На этом глава о смехе моего хозяина заканчивается, и я умолкаю, чтоб не наговорить лишнего.



ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ. Вот и Тихон



Входит Тихон.

— Только этого не хватало, — это сказал не Тихон, это сказал я.

— Никто не видел моей шапки? — это сказал Тихон.

Я всячески, насколько это возможно, выказываю свою глубокую личную заинтересованность.

Мне помнится, после случившихся весенних потоков я вернул шапку на место.

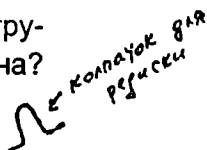
— Вот положишь вещь, — это опять Тихон, — а возьмешь потом обтруханый колпачок для редиски! Вот где она?

Он находит шапку:

— Дерьмо какое-то.

Когда речь идет о дерьме, ничего нельзя сказать определенно.

— Слоны ее, что ли, лизали?



↳
↑ нос
Шурика

Ну почему слоны?

— Точно, они... слоны.

— Да кому нужна твоя шапка! —

говорит мой хозяин, лежа на койке.

Шурик вообще ничего не говорит.

Шурик занят: он ковыряет в носу. Никогда не видел, чтоб из носа так тщательно все выгребали и систематизировали. Шурик серьезен. Он внимателен и осторожен, как туркменский археолог. Он сперва извлекает из носа козьявку, оценивает ее, изучающе приближая к глазам, а потом уже перетирает.

— Твоя шапка, — говорит он неторопливо Тихону, не оставляя в покое козьявки.

— ...шапка твоя, — продолжает он, щелчками распространяя повсюду свои загогульки, — ходила гулять с моей шапкой. И чем у них закончилось это гулянье, сказать трудно, но по возвращении обе были утомлены.

Поначалу я полагал, что Шурик — полный кретин.

Теперь об этом можно спорить.

— Да, вот еще, — он все еще занят носом, — а что на нашем славном корабле делает твоя кроличья шапка?

— Я ее здесь забыл.

— После ссоры с любимой схватил самое драгоценное — и на корабль.

— Я в ней на рыбалку хожу.

— Иначе не клюет. Как наденешь эту лохомудь себе на клюкву, так вся рыба...

— Она вам мешает, что ли?

— Конечно! Конечно, мешает. А ты думаешь что? Что ни откроешь — оттуда вываливается твоя шапка. Отдай ее Басе, пусть он ее... месит.

— Пусть он лучше крыс месит, а мою шапку...

Я не стал все это дослушивать — улизнул в форточку.



ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ, сновиденческая

С М С М
← Санкюлоты!

Известно, что санкюлоты не имели штанов. Это видно из самого названия (sans culotte).

Такое приходит в голову, когда ты бежишь в форточку, спасаясь от преследования.

Но ум!

Но мой собственный ум не перестает меня поражать.

И потрясать.

Вообразите, в момент беспорядочного бегства он занят поиском синонимов слову «санкюлот».

И он их находит. Это слова «голлранцы», «засранцы» и «пролетариат».

Я думаю, они могут быть употреблены в качестве ругательств.

И адресованы они должны быть тем убожествам, кто преследует другое

существо за нетрадиционное использование старой кроличьей шапки.

Через какое-то время я вернулся, конечно.

Через ту же форточку.

И, когда я вернулся, у них царил мир, как в полевом госпитале: шапка лежала на своем обычном месте, и все ухаживали друг за другом, как это бывает с калеками, — поправляли постели, читали незрячим письма и рассказывали сны.

Я успел как раз на сны.

Говорил мой хозяин:

— ...и по пустыне. И в этой пустыне где песок, где камень. И вот я иду там, где много камней. То есть не по камням, конечно, через пустыню проложена дорога, вот по ней я и иду. Вокруг никого, и вдруг сзади меня догоняет грузовик. Ничего не было — и вдруг грузовик. Мне становится страшно. Я бегу от него, а он за мной! Догоняет. Я устал. Останавливаюсь. И грузовик тоже останавливается. Я пошел — он поехал. Я остановился — он застыл. Тишина. Жара. Подхожу к нему, а он с затемненными стеклами. Кто за рулем — не разглядеть. Я беру палку — и по колесам, по кузову. И тут он поехал на меня. Я свернул с шоссе и бросился в пустыню — он за мной. Я петляю — он не отстает. И вот, откуда ни возьмись, возникает дом. Огром-

ное здание. У него есть внизу узкий вход. Я ныряю туда, потому что уверен, что на той стороне есть такой же выход. Пробегаю по узкому коридору, выскакиваю наружу — и там меня ждет все тот же грузовик. Все. Я теряю сознание. Очнулся — лежу на больничной койке. Осматриваюсь — справа никого. Свет рассеянный и идет откуда-то сверху. Слева сидит человек в очках. «Вы чувствуете себя хорошо, — говорит он, — и я предлагаю вам прогуляться». И я действительно чувствую себя хорошо. Встаю и иду за ним. Место странное. Ему будто чего-то не хватает. Никак не пойму чего. Комнаты, коридоры, люди. Они молча кивают моему спутнику. Все очень заняты. Странный свет. «Мне нравятся люди вашего склада, — обращается на ходу ко мне мой спутник, — они надежны. Я как раз собираю таких. Вы их видите. Они идут нам навстречу. Это ученые, мыслители, поэты. Словом, люди нетрадиционного мышления. У меня тут целый город. Я купил землю в пустыне и перенес сюда свою резиденцию. Что будет, если положить на песок полный керамический шар, а потом начать убирать изпод него песок? Правильно, шар будет закапываться. У меня здесь сотни таких шаров диаметром до ста метров. В них мы и живем. Под песком. Между шарами гибкие переходы, наверх ходят лифты. Свет

поступает с поверхности через систему зеркал. Вентиляторы гонят под землю воздух. Электричество я получаю от Солнца, ветра, атмосферного электричества и от таких маленьких проволочек: одна проволочка жарится на раскаленном песке, а другая находится на глубине сто метров.

Воду я выжимаю из воздуха и беру из подземных рек. Нечистоты и мусор утилизирую полностью. У меня лаборатории, лаборатории, лаборатории. Я покупаю людей, их мысли, их изобретения, их проекты, способности. Я плачу хорошие деньги. У меня живут семьями. У меня сады, водопады, бассейны, хорошая, здоровая еда.

У вас неплохие администраторские способности. Хотите ко мне? Обещаю, скучать не придется».

Что-то во мне взбунтовалось. Захотелось бежать.

«Нет-нет, не к чему бежать. Наверху пустыня. Заблудитесь и умрете. У меня никого силком не держат. Не захотите — очнетесь на том самом месте, где вас догнал грузовик, и до конца жизни будете думать, что все это вам приснилось».

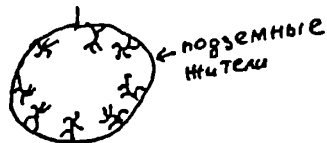
И я сказал: «Нет».

— И что дальше?

— Проснулся.

— Вот это да.

Я тоже так думаю.



— А мне однажды снилось вот что, — вступает Шурик: — Идем мы под водой и вдруг получаем радиограмму: взорвался вулкан, и пепел затмил солнечный свет на три месяца. Началось обледенение. Нам предлагается идти в базу на всех парах, а то затрет льдами. И мы как помчались в базу — только свист стоит. А на экране видно, как быстро нарастают льды. И мы летим, а проход между льдами все меньше и меньше. Чувствуем: не успеваем. Тогда всплываем, топим корму и на скорости вылетаем на лед. И сначала лед под лодкой ломается, а потом достигает такой толщины, что даже не проминается, а лодка становится такой маленькой — не больше телеги, и мы все вылезаем и тянем ее дальше до базы на лямках, как бурлаки.

— Дотянули?

— Дотянули.

— Вот это да!

Я тоже так думаю.

— Тихон, давай свой сон.

— Да мне еще ничего не снилось.

— Ну расскажи чего-нибудь.

— А что рассказать?

— Да что хочешь.

— Могу рассказать, как я чуть не заболел сифилисом.

— Возражаю (Шурик брезглив), сифилис уже был.



— Был триппер.

— Да какая разница? «Встаю я утром, вижу — сифилис». Очень смешно.

Историю про «чуть сифилис» я слушать не стал. Я попятился, нырнул в форточку и тут же попал в лапы вахтенного — тот от счастья чуть не провалился, чуть не захлебнулся — записедал, загоготал и забился, как крачка, нашедшая место под гнездованье.

— Кот! — все никак не утихал он. —

Кот!

Вы знаете, в такие минуты я почему-то всегда сомневаюсь в реальности окружающего мира. Что-то в нем непременно смущает.

— Кот!

Ну, кот, кот! Ну?!

— Кот! — продолжает вахтенный свой брачный танец и сует меня носом в какую-то дыру. — Тут у меня живет крыса!

Я думаю, на этом корабле все слегка спятили.

— Вахта!

Вахтенный вздрагивает и вытаскивает меня из дыры.

— Что у вас тут происходит?

Происходит у нас то, что я сунут носом в помойку, извиваюсь всем телом и никак не могу дотянуться до руки этого придурка.

— Что это у вас?



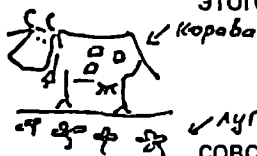
триппер
Тихона

Спрашивающий — мужчина.

Странно было бы, если б это была женщина.

Но что можно сказать о его внешнем облике? Вы видели когда-нибудь корову на лугу? У нее на шее колокольчик, у колокольчика есть язычок, а у язычка — щербинки, каверны, трещины.

Так вот, любая трещина или каверна на том язычке колокольчика луговой коровы несет в себе куда больше интеллектуального смысла, чем весь облик этого несчастного, умноженный на сто.



— Это кот?

А что, я похож на барсука?

— Кота ко мне в каюту. Крысы совсем одолели. Вчера съели мой китель.

Ах, вот оно что. Это старпом. Мы уже слышали историю с его кителем.



Меня мгновенно перенесли в каюту старпома и сунули мордой в новую дырку.

В дырке сидела крыса.

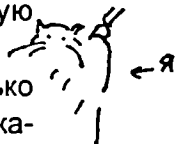
— Привет вам, Себастьян! — сказала крыса.

Надо заметить, что после «привет вам, Себастьян!» я нападать не способен.

— Привет вам, крыса! — сказал я.

— Я — Калистрат, член Совета девятнадцати по связям с общественностью. Это я посылаю вам сообщения через акустический узел. Не могли бы вы, лю-

безный друг, посторониться и дать мне выскочить? Мне представляется, после этого вы должны броситься за мной, и мы вместе удерем через плохо закрытую дверь.



Мы так и поступили. Как только Калистрат, член Совета по связям, накануне раздраконивший китель, рванул на выход, старпом тут же вскочил на стол, где, стоя на четвереньках, с интересом наблюдал за происходящим.

Я бросился за Калистратом, и мы с грохотом чего-то рухнувшего вслед вынесли из каюты.



ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ.

О странностях



Деметра

Странно, но во время побега мне почему-то вспомнилась Деметра.

И, собственно, не сама Деметра, а то, что ее реакция на утрату Персефоны была не совсем обычной. Она — и реакция, и Деметра — сначала была горестной, затем подавленной и, наконец, негодующей.



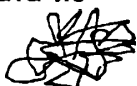
Персефона.

Скитаясь по земле в попытках разузнать о том, что случилось с дочерью, в желании вернуть ее перестав мыться, она — теперь уже только Деметра — разыграла последовательность действий, которая, как нам кажется, поразительным образом предвосхитила все стадии меланхолии, описанные доктором Фрейдом в 1917 году.

Я же в отличие от этой невымытой горюньи, от всех этих переживаний немед-

ленно ощутил желание освежиться, что и сделал, едва только зад Калистрата исчез за ближайшим поворотом.

А вы знаете, как я моюсь.



← сильнейшие переживания

Вам известно, сколько я в это вкладываю сил.

А откуда они появляются, эти силы? (Закономерный вопрос.)

Они появляются только после сильнейших переживаний, душевных движений.

Все это пришло мне на ум, когда я долизал себе хвост.



← удивительные движения

Это умозаключение поставило точку моим размышлениям о силах, потраченных на омовение.

После чего я подумал о государстве.

Я не могу вам сказать, почему, когда я лижу себе хвост, мне приходят мысли о государстве.

Может быть, государство похоже на что-то такое же необходимое, как собственный хвост?

А может, функции государства — ловить и давить — не могут оставить меня равнодушным.

— Кис! Кис! — слышу я.

— Пыс! Пыс! — как говорят в Голландии. Меня пытается найти вахтенный.

Фиг ему — как говорят на островах Фиг Жи. Впредь я буду еще более осмотрительным. Я острожненько сунулся



Острова Фиг Жи

в форточку — надо узнать, как там поживают наши приятели.

— ...С самого детства (у Шурика было детство) у меня очень непростые отношения с картофелем (чего только не случается с овощами). На первом курсе училища мы по ночам чистили его тоннами. Вернее, кожуру с него снимала специальная машина, в которую при остановке все стремились сунуть голову, чтоб понять, как она это делает, а мы уже вырезали глазки.



детство Шурика

И вот на практике в полку морской пехоты я сижу ночью и тоже вырезаю глазки. Все пошли покурить, и я, как некурящий, остался. И вдруг сзади слышу: «Ты что делаешь?» Поворачиваюсь — надо мной нависает огромный старшина морпех. «Вот, — говорю я, маленький и смущенный, — глазки режу». И тут слышу: «Режу?! А что мы жрать-то будем?!» С тех пор я уже не режу глазки.

Вот такая история.

— Когда разрешили всем военным выращивать картошку, — вступает в разговор мой хозяин, — кронштадтский комендант приказал гауптвахте засадить его личное поле. А на губе тогда сидели одни годки. Их привезли, дали им семенной материал, сказали: «Вот оно, пространство», — и оставили одних. Они посадили всю картошку посреди поля в одну



яму двухметровой глубины. А комендант все ходил и ждал всходов. Она взошла, когда годки уволились в запас. Посреди пустоши выросла гигантская картофельная клумба.

— Тихон, что у тебя есть о картошке?

— Ничего нет. Я ее ненавижу! Так ненавижу, просто жуть! Ненавижу ее сажать, полоть, вносить под нее навоз, который тоже ненавижу. И то, как она зреет, ненавижу.

— Тогда слово «поезд».

Что это с ними?

Тихон НЕНАВИСТЬ
Тихона

Ах, может быть, они говорят слова, а потом на них рассказывают всякую всячину?

— У кого что есть на слово «поезд»?

Я прав. Увы.

— У меня есть, — оживляется Шурик. — Слушайте: еду в плацкарте, а рядом папа с маленькой дочкой. Она ему: «Папа, папа, я хочу в туалет». — «Ну, пойдём в туалет». — «А-а-а... боюсь, там дырка». А в туалете действительно вместо унитаза на полу огромная дыра, и туда страшно смотреть, потому что дорога мелькает. Девочка ныла-ныла и наконец нассала на газету. А папа ей потом: «Будешь пирожок?» — «Нет». — «Тогда пойдём в туалет». — «А-а-а...»

Мда. Сюжет мне понравился. Девочка, безусловно, была фрустрирована тем обстоятельством, что в дырку мелькала дорога, и у нее теперь будут сложности с анальным сексом.



← Трансгрессивный эрос

О чем бы еще мне подумать?

О трансгрессивном эросе или об эдиповом треугольнике?



← Эдипов треугольник

А не погулять ли мне?

— Видимо, погулять.

Повернув на выход, я нос к носу столкнулся с Калистратом.

Тот был смущен.

— Я не хотел бы, чтоб моя успешная ретирада, — заговорил он после небольшой паузы, — была вами воспринята, как невежливость.

— Ах, что вы! Какие пустяки, — пришел я ему на помощь.

— И тем не менее прошу вас принять мою благодарность за спасение. Одному мне бы не справиться.

— Помилуйте, не стоит...

— И все-таки...

Мы раскланялись.

— А теперь, если вы не против, я хотел бы удалиться. Долго пребывать в обществе кота, с крысиной точки зрения, чистейшее безрассудство, — Калистрат попятился и пропал.

Он прервал мои рассуждения.

О чем я?

Об антропологии, археологии, искусствоведении, истории, критике, психоанализе или философии?

Видимо, обо всем подряд.

Воистину! Перечисленные области человеческой ограниченности имеют все основания для существования.

Особенно в тот момент, когда я, вытянув лапы, растопырил когти, выгнул спину и потянулся.

В сущности, я, не переставая, думаю о человеке.

О его роли.

О его месте. (О месте его роли, о роли его места.)

с(о)о)
Книги!
Зигмунд
в зрелости

По-моему, человек не обладает никаким знанием о будущем.

Иначе как объяснить все эти глупости?

В нашем случае, вообразите, создали корабль, научили его ходить под водой, засунули в него команду и отправили к черту на рога, подозреваю, ради чего-то великого.

Такого же, как каналы на Марсе.

И что в результате? Они лежат в каюте и рассказывают друг другу всякую всячину.

Ну, может быть, я не прав, и теперь они уже не рассказывают, а заняты, к примеру, соотношением причины и следствия в поисках законов, скажем, бытия?

Посмотрим.

Послушаем.

Говорит Шурик:

— Нельзя отличника держать месяц на корабле. Он с ума сойдет. А тем более если это Саня Бережной, который физически очень огромен и даже страшен, но в трезвом состоянии отличник и отличается скромностью.

Саня вообще почти не пьет, но тут он напился по случаю содержания взаперти, пришел в центральный и говорит начальству: «А с вами, блядьми, я еще разберусь! Вот possu. Сейчас. И разберусь». Испугал начальство до смерти и полез наверх ссать. И тут ему плохо стало, и он блеванул на середине вертикального трапа. А начальство видит, как что-то сверху льется, и в ужасе замечает: «Он на нас ссыт».

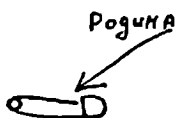


Да. Я был прав. Не думают они о великом.

В частности, они не думают о Родине.

(Я тут где-то видел слово «родина» с большой буквы.

Поначалу я решил, что это женская фамилия, а потом понял, что ошибался.



Родина — это объединяющий символ. Это та булавка, которая всех их скрепляет.

Видимо, это очень большая булавка, и она не только скрепляет, но лишает.

Всяческой возможности.

Что, скорее всего, хорошо с точки зрения все той же Родины.)

Шурик продолжает:

— В зоне курить нельзя. Особенно лейтенантам, потому что это зона режима радиационной безопасности.

А Леня Бычков стоял перед дверью родного контрольного дозиметрического поста и курил.

Дверь открылась, и Леня Бычков нос в нос столкнулся с командующим Северным флотом.

— Я-б-т! — сказал Леня и зажевал охнарик.

В смысле он его выплюнул, но со стороны показалось, что зажевал.

— Товарищ лейтенант! — заговорил командующий, — объявляю вам замечание за курение в зоне.

— Я-б-т! — сказал Леня.

На обеде в кают-компании он мучился. Как доложить старпому? С одной стороны, замечание — это ерунда, но, с другой стороны, доложить-то надо.

— Анатолий Иванович...

— Ну? — старпом ел суп.

— Вот... замечание...

— Ну? (Последнюю ложку.)

— Ведь его куда не заносят...

— Бычков! — старпом безмятежен. Он откидывается в кресле и нетороп-

ливо вытирает рот случившейся салфеткой. — Что ты спрашиваешь всякую... (скорее всего, чушь). Запоминай, пока я жив: замечание объявляется, чтоб напомнить военному служащему о воинском долге. Так? Оно не записывается. Понятно? Это же аксиома, Бычков! Из Устава. Внутренней службы. Ну и так далее, и так далее, и прочая, прочая херня!

— Мне вот... замечание... сделали...

— Ну...

— За курение...

Старпом насторожился. В этом Ленином мычании что-то было.

— Кто сделал тебе замечание?

— Командующий... сделал... Северным флотом...

— Ну... ты, блин, Бычков...

Старпом позвонил с корабля командиру. Тот был в штабе.

— Товарищ командир, тут Бычкову замечание сделали.

Командир выразился так, что, мол, всякую... (чушь, скорее всего) можно было бы и не докладывать.

— Ему командующий Северным флотом сделал замечание. За курение в зоне.

— Командующий?!

Командир зашел к комдиву:

— Товарищ комдив! Как вы полагаете? Вот если военному служащему сдела-

← Косноязычие

но замечание... из Устава Внутренней службы... Оно ведь у нас никуда не заносится.

Комдив посмотрел на него снизу вверх, как кабан на цветущую вишню.

— Анатолий Савелич! Ты меня на что проверяешь? На прыгучесть?

— Тут такое дело, товарищ комдив... командующий... сделал...

— Что сделал командующий?

Комдив позвонил комбригу:

— Товарищ комбриг! Как вы считаете? Вот если объявили замечание...

— А? — сказал комбриг.

Через секунду он уже орал:

— Этому Бычкову пять суток ареста!

— Ничего себе замечание сделали! — говорил Бычков, собираясь на гауптвахту. — Ничего себе «не заносится»!

Шурик закончил рассказ — все опять зарыдали.



Да.

Я что-то плохо себя чувствую.

Недомогание у меня.

Видимо.

Они все время говорят. Эти люди.

Они трывают, тархтят.

Они занудствуют.

А я вот не могу от этого. Я болею.

Я заражаюсь их косноязычием.

Вы заметили, как я теперь строю фразу — «а я вот не могу от этого»?

Ужас. Жуть. Умираю. Срочно.

И мне срочно нужен Наполеон.

Где мой Наполеон? Где он, мой любимый убивец?

Мне требуется лечение.

Незамедлительно.

И вылечить меня можно только

красивым изречением.



← НА ПОЛЕОН

— Мой маршал, — Наполеон ока-

зался тут как тут, — корысть и честолюбие, гордыня, властолюбие, тщеславие. Скажите на милость, что это? Правильно, мой дорогой вояка, это пороки. Человеческие пороки.

Они приводят в движение орды.

Они сминают границы. Они стирают в пыль народы и царства.



↑
СКОЛЕТ
УЕЛОВЕУЕСКОГО
ДУХА

Упразднение пороков истребило бы историю.

А с ней и весь человеческий род.

Ибо!

Добродетель вредна скелету человеческого духа.

Молодец. Не знаю, могу ли я хвалить Наполеона, но очень хочется.

Хочется, знаете ли, иногда потрепать по плечу великого корсиканца и сказать ему: «Милашка».

Но все это только тогда, когда он исчезает.

При нем же я чувствую себя его военачальником.

А внутри у меня струятся соки.

Это соки любви.

К Франции, конечно.

И меня все тянет крикнуть: «Да здравствует император!»

А что скажут другие призраки?

— Мой верный Эдвард! — Генрих Восьмой, как всегда, пребывает в сомнениях. — Мне кажется, в королевстве пора вводить парламент.

— Ваше величество, — заметил я, — мудрость самодержца порой выражается в его способности к самоограничению.

— Хватит болтать! — появляется его милая дочь. Она почему-то размером со спичку и вся окутана легкими облаками. — Величие нации не создается прыткими языками!

Она начинает носиться по воздуху, а я тем временем вспоминаю эпитафию на могиле великой куртизанки мадам де Бош: «В последнее время ей не удалось: она сильно чесалась».

И еще я вспоминаю эпитафии: «Его желания были скромны» и «“Копать не строить”, — он так всегда говорил».

Внезапно все призраки исчезают, и я решаю, что немного любви мне не повредит.

Только я делаю шаг в направлении любви, то есть собираюсь потеряться о хозяина, как в каюту входит Юрик со стихами:



МАДАМ
ДЕ БОШ

Если вас поставить раком
И соски зажать в тиски,
Привинтить гранату к сраке —
Разлетитесь на куски.

И я сейчас же испаряюсь, исчезаю в форточке, успевая в который раз подумать о государстве.

Кстати, люди, зачем мне ваше государство?

Зачем мне оно — то самое, о котором я, как мне кажется, неустанно пекусь?

Я, что, заболел неизлечимо?

Мне, что, делать нечего?

Зачем вообще коту любое государство?

Подумайте сами: кот — и государство!

Чушь какая-то.

пшш
э
шшш
шшш
к государству

Нет! Тайну возникновения мысли мне никогда не постичь! Это надо же: вылезая в форточку и думаю о государстве!

Ну, может быть, государство — это то, о чем думают все, вылезая в форточку?

«Государство, — скажут мне они, покидающие насиженные места с таким очевидным неудобством, — оно ведь лелеет. Оно пестует. Оно оберегает. Да-да, именно оберегает. И поднимает по утрам, и укладывает по ночам...»

«А затем насилует и пожирает», — отвечу им я.

Мы для него (коты особенно) всего лишь пища. И оно заинтересовано в том, чтоб эта пища была здоровой. Чтоб в ней не водилось соринок, волосинок.

Чтоб ее можно было поглотить в любую минуту.

Поэтому для государства главным является вопрос нравственности.

Я просто вижу, как оно это говорит: «Важнейшим для нас является вопрос нравственности!»

Я вижу все это, пронзая своим мысленным взором пространство.

И меня сейчас же блоха кусает за яйца, и я тут же ее ловлю.

Как бы я хотел, чтоб блоха всякий раз кусала государство за яйца, когда оно говорит о нравственности.

Только оно произнесло: «Нравственность!» — а блоха хватъ ее, и государство уже лезет себе в промежность и каждую шерстинку норовит пропустить через свои государственные клыки.

Ведь потерять нравственность, я вам так скажу, все равно что потерять... целомудрие.

Конечно, целомудрие.

Именно целомудрие.

Всенепременнейше целомудрие.

А целомудрие в моем понимании — это... как бы все это объяснить? Целомудрие — это... м... это мудрее быть целым.

Да.

Вот как я это вижу.

После чего мне хочется прочитать стихи о государстве, недавно мною же и сочиненные:

«Калуза сирака микола пендила
И клямзила пуза сикама сечи
Глобала минава срадила пидила
А касичи мука самона квачи
Назрака! Назрака! Назракина сака!
Закилала мука!
Мавудава ва!
И рамина сона какулава дива
Ликуза пирала саники раздива
Рыгала питара и бронива чи».

После чего к ним хочется присо-
вокупить стихи о родине:

«О, кали мати тука
Зык! Рапа туки дука
Климинора загро пала
Шамини саки рап тала
Трагирона выпень дила
Зада вона схаминала
Тук! Кифона сраки срам
Кар! Пирона драки драм».

И еще о героизме:

«Тавра распендила
Тыкие капы сапи
И вздохахонила
Лапой писара!
А марыга замизная
Уж
Залобелила и запудила жала.
Куд!
Киманорные трепы заклюкать
И монты затынить?!
Моцаки!
Пуки разъякились
А шибаные раки растюнились
В самую мынру
Шкалы клетире взатренили
Шибма мазутина пизу растрямзила
И пометурила закаметилая зесть»,

Да... перед настоящим искусством... даже не знаю... а лучше сказать, не ведаю... уж...

Все это лирика, конечно.

А лирика имеет отношение и к великому, и ко всякой ерунде.

Чего о ней думать.

Лучше думать о том, что возбуждает мое любопытство.

Вот, например, ответит мне кто-либо, почему люди собираются в каюте, где в присутствии окружающих поочередно несут всякую чушь?

— Я отвечу.

— Кто это?

— Это Дух. Я пока невидим, потому что мне сейчас лень быть видимым. Люди собираются в каюте потому, что они свободны от вахты. На вахте они по восемь часов в сутки сидят, часто в совершенном одиночестве. У них не так уж много развлечений. Поэтому, сменившись, они идут в каюту, где какое-то время просто треплются.

Что помогает им не сойти с ума.

Вот послушай, что рассказывает Шурик.

И сейчас же стена, отделяющая нас от каюты, как будто растворилась, и я вдруг очутился совсем рядом с людьми. Их было трое: Юрик, Шурик и мой хозяин.

— Был у нас мичман, по фамилии Мамонт, — заговорил Шурик. — Его так все и звали: мамонт. А он был Мамонт. Ударение на втором слогe. У него имелась огромная вытянутая кверху голова с проплешиной, толстые губы и челюсть, которая из-за своей тяжести всегда лежала на груди.



МИЧМАН
МАМОНТ

Плеч и шеи у него совсем не было, а руки при общем росте один метр девяносто сантиметров легко достигали колен.

Старпом звал его: «Волосатый слон». «Где этот, — говорил он, — Воло-

сатый слон?» — на что Мамонт сильно обижался.

Он в свое время служил на Черном море, откуда и принес следующие истории.

Как-то раздобыли мичмана с их корабля целую цистерну двадцатипятипроцентного аммиака и тут же решили его продать местному населению, отличающемуся невероятной домовитостью, переходящей в патологическую жадность. Подъезжают к огороду и говорят бабке: «Бабуля, хочешь аммиаку?» — «А на кой он мне, родимый?» — отвечает бабушка. «В хозяйстве, — замечают ей эти негодяи, — все сгодится. Аммиаком, кстати, хорошо белье стирать».



Уговорили они старушку и наполнили ей этой дрянью бочку, после чего у бабки на огороде немедленно облетела вся листва. Как ветер дул, так по ходу движения ветра она и облетела. Потом умерли все воробьи, а куры вместе с гусями срочно научились летать и улетели. Поросяенок сначала метался по двору, как чумной, а потом он нашел в заборе дырку величиной с копейку и с разбегу вчесался в нее, вытянувшись, как черная стрела.

Скандал длился неделю. Потом поутихло, и мичмана опять отправились в ту же деревню.



На этот раз они привезли краску, которой обычно красят корабельное днище.

«Бабулька», — сказали они в том же доме.

«Чего тебе, Ирод?» — услышали они в ответ.

«Мы приехали исправлять о себе мнение и привезли краску для твоей крыши совсем за бросовые деньги».

Краска понравилась и была приобретена всей деревней.

Все покрасили себе крыши, и стали они красивыми, красными.

И тут выясняется, что эта краска очень любит воду.

Без воды она просто не может находиться на крышах. А лето стояло жаркое, краска подождала воду с неделю, а потом свернулась огромными рулонами и сползла со всех крыш на картофельные грядки.

Стена восстановилась, и мы с Духом опять оказались в отсеке.

— Это просто этническая психология удмурдского народа, — сказал я после небольшой паузы.

— Чтобы эти четыре слова вместе сложить, — заметил Дух, — надо еще очень постараться. Сам придумал?

— Читал. Меня одно время интересовала этническая психология удмурдского, а также мордовского, башкирского, коми, пермяцкого, нанайского, ногайского, ненецкого народов, а также народов удэге и ханты-манси.

← этническая психология

— Никого не забыл?

— Нет. А можно мне еще послушать какую-нибудь фразу, например, Шурика?

— Пожалуйста! — стена немедленно исчезает, появляется Шурик, который произносит:

«...и упрямое полено старины Джузеппе...» — после чего стена становится на свое место.

— Хватит? — спросил меня Дух.

— Вполне. Черт знает что такое. Я в замешательстве. У этого всего должна быть психология.

— Ну, психология, она ведь везде: на дне горшка или не на дне... Все вокруг имеет свою психологию. Вот ткнешь, бывало, — ну полная ерунда, а задумаешься — и уже психология.

После этих слов Дух исчез, а я медленно пометил кабельные трассы.



мировоззрение



мироощущение

Давненько я ничего не метил. А между тем, произошло столько событий, которые не могли не повлиять на мое мировоззрение.

И вот эти изменения в мировоззрении, мироощущении, гражданской позиции, наконец, я не мог не передать в своей метке.



гражданская позиция

Которую уложил очень точно — стрела в стрелу — поскольку наиболее



важным в этом непростом деле мне представляется не столько объем и скорость послания, сколько кучность, своевременность и лаконичность.

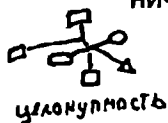
Для чего пришлось выбрать вертикальную стойку, так как на горизонтальной поверхности метка держится недостаточно долго, и, кстати говоря, на плоскости гражданская позиция, растекаясь, со временем претерпевает изменения, а на всем вертикальном — нет, поскольку изначальные потоки... эти...

А так хочется быть правильно понятым.

Так хочется неискаженным дойти до сознания всякого и передать ему свое отношение к таким, например, понятиям, как целостность и целокупность.



А я о них много размышлял и пришел к выводу, что целостность — это не совсем целокупность, поскольку она всего лишь насильственное, механическое соединение расползающихся частей, в то время как целокупность предполагает самодостаточность каждой части при гармоничном сочленении их в единое целое.



Хочется все это не растерять.
Хочется отразить.

Выразить.
Запечатлеть.
Обвеховать.
Для чего и приходится метить.

← вертикаль



И в этом нам поможет вертикаль, упрочнение которой не оставляет нас равнодушными, потому что вертикаль — есть в ней что-то особенно притягивающее, завораживающее, как взгляд восставшей кобры.



КОБРА

С этим словом связываются надежды, и не на пустом месте возникает желание доверить ей что-либо особенно ценное.

Я бы во всем этом увидел фаллический символ и, в частности, его торжество, если бы слыл за почитателя оно.

Но нет! Отнюдь!



← объединяющая идея

Мне кажется, использовать фаллос как категорию, как объединяющую идею нельзя — слишком велико давление повседневности, если не сказать обыденности.

Для объединяющей идеи хорошо бы использовать что-нибудь не совсем привычное, лучше фантастичное, не всегда достигаемое, но жутко, жутко привлекательное.

Условно говоря, не мед, но только предполагаемый вкус его.

А может быть, даже больше — воззрения относительно предполагаемого вкуса, помыслы в отношении его формирования или же только надежды на подобные помыслы.

а что ← воззрения

— Здесь где-то должен быть кот! — услышал я за своей спиной голос вахтенного, который вернул меня в мир. — Старпом дал задание поймать для него кота, чтоб он сторожил у него крыс. Сейчас посмотрю.

Мама моя, я немедленно прекратил свои размышления и слился с окружающей средой.

А вы знаете, как кот сливается с окружающей средой: он сгибается, распластывается и сверлит своим взглядом преследователя.

И тот зрит только то, на что его подвигает примитивное сознание.

— Нет никого!

Ну вот видите! Смотрел на меня в упор и ничего не заметил.

А все потому, что мы, коты, умеем смещать взор незатейливого наблюдателя в сторону от себя.

И он, этот взор, видит всякий вздор.

Люди этой способности лишены. Они много чего лишены — логики, например, — но и этого тоже.

Что и правильно.

Будь я правителем, я бы в первую очередь запретил логику, если б она у них была, а потом — ум.

Я издал бы указ: «О запрете ума, виновного...»

Но при этом я оставил бы им свободу слова — и люди превратились бы в попугаев.

Мне достаточно было бы сказать одно только слово — к примеру, «законность» — и они перепевали бы его на все лады.

После чего я разрешил бы им вешать на стенах свой портрет, который был бы воспроизведен таким образом, что с какой точки на него ни посмотри, все кажется, что он смотрит тебе прямо в глаза.

Это способствовало бы пищеварению.



Мне и кот
зррг.

Они б у меня гвозди переваривали!

Они б у меня...

— Вот он!

— Кто?

— Да кот же!

Ай, как нехорошо! Я совершенно расслабился, забылся, и вместе со мной ослабла моя маскировка. Сейчас мы ее восстановим.

— Где ты видишь кота?

— А ты не видишь?

— Нет.

— Только что здесь был.

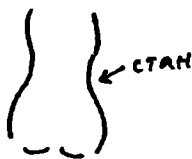
Был-был. Кто же спорит. «Ах! — говорила одна моя знакомая. — Бытность — она ведь не данность!»

И я с ней соглашался.

С ней невозможно было не согласиться в осязаемой близости.

Она находилась рядом в пору моей бурной юности.

Чудное лицо, волосы мягкие, нежные руки и ноги, к которым не возбранялось с восторгом лечь .



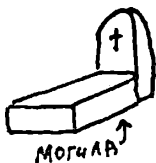
А стан?

Ох, что это был за стан, о-о-ох!..

Черт побери! Что это был за стан!
Черт побери!

Мы любили ходить среди могил.

Она держала меня на руках.



Она ласкала мне шею.

В основном шею.

Она меня почесывала.

Она скреблась ноготками.

У нее были замечательные ноготки на руках и восхитительные ноготки на ногах.

Прелестные были ноготки, прелестные!

Это она приучила меня к эпитафиям.

«Смотри, котик, что здесь написано, — говорила она, поднося меня к оче-

редному надгробию: — «Когда бы не рези, единственным его испытанием была бы совесть!» А вот еще: «Он предпочитал чтение, бедняга. И читал он всякую чушь».

О, как мне нравились эти мгновения.

И как я хотел бы, чтоб они длились вечно.

В эти минуты я наполнялся величием. В глазах моих ютилась нега, в членах — томность.

И я любил этот мир.

Даже среди могил.

Именно в такие моменты во мне зарождалась поэзия.

Именно тогда я мог написать: «Сочинение «На тень тернового венца», где в разделе «Попутное» было:

Лаца, лапца, кам бирука
И чавана лапив зука
Си ко катипава трака
Теки мака суки дака
Лак! Типона тики тук
Лакаврона ка ми шук
Шакава сыпона как
Жупирона таки чак

И вдруг мимо меня проскочило с десяток крыс. Они лопотали что-то по-своему — никак не разобрать. Меня они совер-



шенно не замечали. Потом проскочил еще десяток, а затем хлынуло-хлынуло — одни только крысы-крысы — хлынуло, заполонило-заполонило, но вот и иссякло, и стихло.

Меня это насторожило.

— Калистрат! — позвал я и сейчас же обнаружил его рядом с собой. — Что происходит?

Калистрат тяжело дышал.

— Точно не знаю, — вымолвил он, — но с первого отсека передали: «Спасайтесь!» Теперь все бегут в корму, мой любезный друг, и я вынужден к ним присоединиться, — добавил Калистрат и тут же исчез.

Внутри меня нарастала тревога.

— Дух! — позвал я.

— Ну!

— Что происходит?

— Как щ-щщас трахнет!

— Где трахнет, где?

— Да в первом же. А потом и в третьем. Ох и пожар будет!

— Ты устроил?

— Нет. Короткое замыкание в силовой сети. Удар, как взрыв, потом пожар. Корабль обесточится. Лодка всплывет. В первом погибнут все. Из третьего уйдут в корму. Ты, твой хозяин и двое его друзей — останетесь во втором. Вы будете отрезаны от всего корабля. Вас причислят к мертвым на долгие дни, пока лодку не обна-

ружат, не возьмут на буксир и не приведут в базу. Во втором вы быстро съедите все запасы. Все, что найдете. Вы будете страдать без воды. Хотя... впрочем... да, со стен можно будет слизывать конденсат. В темноте твои приятели найдут фонарь и устроят настоящую охоту на крыс, которые не успели удрать. Берегись, Себастьян, они и тебя захотят съесть. Это все, друг мой. Удачи. Я должен быть в третьем.

Дух исчез. В кишечнике у меня похолодело.

— Наполеон! — вскричал я.

— Это великий миг гибели мира! — появился Наполеон. — Он потрясает сердца. Все ради великой империи — и обман, и подлог, и кровь, и страдания. И вот выясняется, что все это зря. Все напрасно, мой маршал. Все гиблое. Все пустое. Империя, ради чего ты была?

— Трах!!! — раздалось в тот же миг где-то там впереди. Лодку встряхнуло, и Наполеон исчез.

— Аварийная тревога!

Все, кто был рядом, убрались в третий, после чего раздался взрыв в третьем: трах!!!

Мой хозяин, Юрик и Шурик не успели выскочить из второго — дверь задраили перед их носом.

Шурик и Юрик кинулись и быстро оказались у двери в первый.



← Бах!



← Трах!

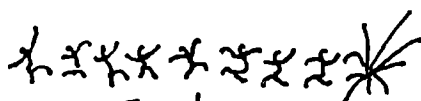
А оттуда уже неслись крики, вопли, и я вдруг увидел, как в первом бушует пламя, как горит все-все, — кажется, даже воздух, и в нем мечутся люди, люди, они что-то пытаются делать, хватаются за все подряд руками и кричат — ох, как же они кричат, как кричат...

Видение пропало.

У Шурика и Юрика в глазах стояли ужас и слезы и пот струился по лицу. Они застыли у носовой переборки, а мой хозяин — у кормовой.

А в первом кто-то все еще бросается на дверь — еще и еще раз, пытаюсь повернуть кремальеру, но Шурик на чеку — он закрыл переборку на болт, который сунул в специальную дырку, и теперь он — этот болт — прыгает в своем гнезде, и кажется, вот сейчас выскочит, но нет — крики стихают.

Свет гаснет — мы в темноте. Кончено. Вторая часть.

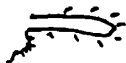


все бегут!

ВТОРАЯ ЧАСТЬ

Вот так и начинается вторая часть: крики, гарь, смрад и чад, но вот обломки, налетавшись по воздуху, приземляются, пыль успокаивается, свет гаснет, наступает тишина.

Она давит, она просачивается, она входит в поры.



← мой хвост.

Самое время проверить, на месте ли собственный хвост?

Собственно, наверное, конечно... но, все-таки...

Осторожно оборачиваемся — вот ведь темень какая — по-моему, да.

На месте.

— Что будем делать? — это спросил не я.

— Сначала найдем фонарь, — это ответил не я.

Я вообще ничего не говорю. Я хочу раствориться в темноте. Помните, что сказал Дух? Сначала они сожрут припасы, потом крыс, а затем будут играть со мной в гастрономические прятки.

— Я нашел фонарь.

Ну вот, теперь у них есть фонарь. Интересно, на сколько он рассчитан?

— Горит?

— Горит, — загорается фонарь.

— Погаси. Аккумуляторов в нем хватит только на сорок восемь часов.

Досадно, что не на восемь.

Нельзя сказать, что мне совсем не было жаль погибших людей.

Я их жалею конечно, не без того, но во время трагедии, когда вокруг летают обломки и ты сам от них ничем не отличаешься, тебе никого не жаль.

Разве может обломок кого-то жалеть?



обломки

Это чувство приходит позже и только в том случае, если на тебя не организуется охота.

А на меня она скоро будет организована.

Я же чувствую. И Дух говорил.

Так кого мне жалеть?

— Вот он!

Господь Вседержитель!

— Где?

Царица заступница!

— Да вот же!.. Вот он! .. Нашел!..

Еще один фонарь!..

Фу-ты... люди... вы меня... ну надо же... бля, как здесь говорят... вы бы... это... проще лицо делали что ли, когда фонарь находите... я же...

— Не горит, сволочь.

Действительно! Действительно!

Скотина, сволочь, мерзость, срам — не горит — а я уже испереживался весь.

Я уже... Господи... я с ними совсем изведусь..

— Надо проверить носовую переборку.

Да! Да! Давайте! Давайте проверим! Да! Ее! Носовую переборку!

— Шурик, постучи.

Это мой хозяин. Похоже, я начинаю успокаиваться и различать их по голосу. Шурик стучит в носовую переборку — в ответ ему тишина.

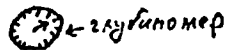
— Никого... Теперь стучим в кормовую...

Постучали — тоже ничего.

— Все отлично, мы в отсеке, а с обеих сторон людей нет. Связь! Надо проверить связь.

Проверили.

— Связи нет. Глубиномер!.. Надо отыскать глубиномер!..



Отыскивали глубиномер. Не знаю, что он сказал им, но, после того как они в него вперились, они как-то успокоились.

— Лодка, судя по всему, на ходу.

Интересно, как они это поняли, глядя в глубиномер.

— Слышите?

Да! Что? Что слышите?

— Вода.

Где вода? Где?

— За бортом переливается... Журчит... Значит, мы на ходу и в корме люди есть.

Господи, как я рад!

И как здорово, что все, о чем говорил Дух сбывается!

Да нет, не здорово... они же сейчас начнут еду искать.

— Надо найти еду.

А воду они будут слизывать со стен.

— А воду?

— Можно слизывать... со стен...

Сейчас они за крыс примутся.

Спокойно. Не сейчас. Сначала они обычную еду найдут.

— Есть!

Что есть, что?!

— Есть еда! Я нашел хлеб.

Поздравляю вас, люди... вы необычайно положительно умны...

Пора успокоиться.

И тогда ко мне вернутся все мои способности.

Мои способности восхищать и предвосхищать.

Восхищать самого себя, а предвосхищать события.

Чтоб успокоиться, я буду смотреть, как люди едят. Они едят хлеб. Мой хозяин — медленно, тщательно пережевывая каждый кусок, Юрик — жадно и быстро, Шурик — совершенно отрешено.

— Надо проверить воду в умывальнике, — подал голос Шурик, — по-моему, перед аварией была нагружена цистерна пресной вода первого отсека, а если это так, то воды у нас будет навалом.

Юрик немедленно бросился к умывальнику и проверил:

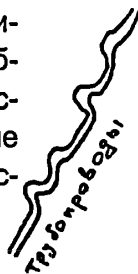
— Есть вода!

Все сейчас же напились.

Это хорошо. Хорошо, что вода есть. Дух ошибся, нам не придется слизывать ее со стен. Может быть, он ошибся и насчет всего остального, и они впоследствии, поедая крыс, чему я лично не великий противник, тем и ограничатся, оставив мой хвост при мне.

Увидим. Не будем спешить.

— Надо постучать по трубопроводам, идущим в корму, вдруг нас услышат, — проговорил мой хозяин, и Юрик немедленно бросился по ним молотить.



Мне иногда кажется, что все они трое теперь единый организм. Причем, если Шурик и мой хозяин — это голова и верхняя часть туловища, то Юрик — прежде всего руки и ноги. Только они заикнулись — он уже побежал.



ЧЕРЕЗ ДВА ДНЯ

Эти два дня были посвящены тому, что мои двуногие собраты нашли средство, выделяющее кислород, снарядили его, потом стучали по трубе, прислушивались, опять стучали, опять прислушивались, гадали об ответных стуках, потом искали дополнительную еду, потом нашли ее — по ложке на каждого — и съели.

— Скоро будем есть крыс! — заявил Шурик, и это заявление меня не удивило. Нельзя сказать, что оно для меня было совершенно неожиданно, тем более что за последнее время я поймал и съел всех оставшихся крыс, но оно — это заявление — заставило задуматься... и представить себе, как они ловят этих маленьких зверьков, раздирают их на части и жадно поедают... Нет! Я этого не выдер-

жал бы. Это зрелище не для меня, поэтому я сам поймал и заранее съел всех.

— А давайте поймаем кота! — сказали они друг дружке в тот самый момент, когда обнаружилась пропажа крыс.

Еще два дня были посвящены этой дивной затее. Меня подстерегали, ловили, принюхивались, определяли на звук, хватали в темноте, шли по следу, брали в кольцо, в клещи, наваливались из засады.

Наконец все устали и отвалились.

— Все!

После этого наступило затишье. Они молчали, потом мой хозяин сказал Шурику:

— Расскажи чего-нибудь.

— Чего рассказать?

— Чего-нибудь веселое.

— Что-то ничего не лезет в голову.

— Юрик, а ты?

— Я тоже себя чувствую не очень.

— Тогда я вам расскажу.

Когда я уволюсь в запас, я куплю

Грибы

дом в деревне.

Ягоды

Чтоб далеко от дороги, чтоб речка и лес. А в лесу чтоб было много грибов, которых можно сушить, и ягод.

Я люблю собирать грибы и ягоды. Идешь — никого, только птицы с ветки на ветку, с ветки на ветку.

Это сойки.

А дом чтоб стоял на краю и за ним сразу лес.

Я бы его окопал по периметру — я имею в виду дом. Сделал бы широкую канаву, и она бы заполнилась водой.



Там бы караси развелись, и их можно было бы ловить.

Бреднем.

Разденешься, зайдешь в прохладную воду, заведешь бредень и потом вытягиваешь его.

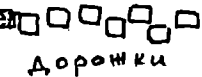


А в нем караси.

Их еще жарить хорошо.

А дом двухэтажный.

А на втором этаже надо сделать окна в крыше. Тогда будет падать свет сверху. Я видел. Это очень красиво.



А дорожки выложить плитками.

Я сам сделаю эти плитки. Это будет мировой дом.

Потому что это жилье, и о нем надо заботиться.

Я бы и картошку выращивал. Ее же тоже надо любить. Картошку. О ней надо думать, и тогда она вырастает до невероятных размеров. Просто нельзя сажать всякий мусор. Надо очень внимательно отбирать картофель на семена. А то еще можно выращивать из семян. Там есть такие зеленые ягоды. Разрезаешь их и выковыриваешь семена. Я читал.

Потом разведу кур. У меня будут свежие яйца. Молоко. Можно корову завести.

А лучше — пчел. Говорят, пчеловоды долго живут.

А утром встанешь — и пошел по росе. Холодно. Ноги стынут. Прибежал и забрался в кровать, накрылся с головой — тепло.

Пробил бы скважину — была бы вода.

Стены в доме утеплил бы. Печку сделал бы. Зимой натопил — дров полно.

Люблю дрова заготовливать. А плетень я сделал бы из вербы — она хорошо плетется. Грибы бы выращивал. Сделал бы такие специальные ниши в погребе.



Кролики

Шампиньоны.

Кроликов бы завел. Племенных. Или нутрий. Их веточками вербы можно подкармливать.

А под коньком крыши свили бы гнездо ласточки. Или стрижи. Перед дождем они здорово свирестят. Я бы по ним даже угадывал грозу.

Люблю грозу. Сначала клубится, собирается и на душе тяжело, а потом как грянет — и молнии все небо растрескали.



стрижи

А хлынет — как из ведра.

Я под дождем люблю мыться. Вышел в плавках — тебя и помыло. Хорошо!..

Потом хозяин замолчал.
Другие тоже ни звука.

А я вдруг подумал: «Эх, вы, люди!
Вот ведь как вы устроены. Становитесь
людьми в самый что ни на есть неподхо-
дящий момент!» — потом я сам вышел им
навстречу.

— Смотрите! — сказали они. —
Вот же он, кот...



Я вышел им навстр.

Содержание

Странно смотреть	5
Пес	9
Ты да я	14
Пупок	16
Острова в океане	19
Над Северным флотом	24
Гвардия	26
Воздух	29
Как я спасал Россию	34
Ожидаю чуда	38
Депрессия?	41
«Герман» и судьба	44
Природа	48
Сумасшедший	51
Три рубля	53
семьдесят пять копеек	53
Кровь и Валера	56
Мерзость и циркуль	58
Икра	60
Рукопожатие гиганта	62
Новая жизнь	64
Про Толю	66
Охота на лис	69
Скотина	71
Покурить	74
Невозможная красота	76
Непредсказуемый	79
Радиола розовая	82
Фрагменты биографии	84
Коротенько	89
Карловы Вары	91
Цунами не видели?	93
Прыг и Скок	94
Филиппыч	96
Негорючий керосин	98
Смурно	100
Взамшело	102

Карпуша	104
А. Ибрагимов	106
Я	108
Оторва	109
Другая история	112
С дикой силой	114
Я с командиром	116
Прошу вас	118
Пенкина	120
Скорость мышления	121
Север	123
Натюрморт	124
О критической точке	125
Пальч	130
Савва Матвейч	132
Алмаз	135
О смехе	138
Пафос и эрекция	141
Как мне давали премию	144
Как я сдавал анализы	147
Без позвоночника	151
Храп	157
О вечном	159
Истинное любопытство	161
Сова и Баллон	163
Комбатовка	168
Урология	171
И дорогая...	174
По самые помидоры	177
Гоша	180
Верность	183
Лапиков	185
Попутное	187
Сын	191
Письма	194
Воспоминания	203
ОТКРОВЕНИЯ КОТА СЕБАСТЬЯНА (Роман)	207

Покровский, А. М.
П 48 КОТ. Рассказы и роман. — СПб., ООО ИНАПРЕСС,
2002, 384 стр.
ISBN 5-87135-136-0

В новую книгу Александра Покровского, автора знаменитых книг «РАССТРЕЛЯТЬ», «72 МЕТРА» и многих других — вошли рассказы, написанные в последние годы, и новый роман «Откровения кота Себастьяна...»

Речь автора, вложенная в аллегорические «уста животного», звучит едко и комично. И полные сил герои предстают Себастьяну в самых неожиданных ракурсах, о чем он и повествует.

АЛЕКСАНДР ПОКРОВСКИЙ
КОТ
рассказы и роман

Подписано в печать 21.01.02. Формат 84х108/32.
Гарнитура Arial. Печать высокая. Усл. печ. л. 24.
Уч.-изд. л. 11,5. Тираж 10 000 экз. Заказ № 2561.

Издательство ООО ИНАПРЕСС. СПб., Невский пр., 74.
e-mail: inapress@peterlink.ru
ЛР № 062759 от 04.07.1998.

Отпечатано с диапозитивов в ФГУП «Печатный двор»
Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций.
197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.



В новую книгу
**Александра
Покровского,**

автора
знаменитых книг
«РАССТРЕЛЯТЬ» и
«72 МЕТРА»,
вошли
рассказы,
написанные в
последние годы,
и новый роман
«Откровения кота
Себастьяна...»

Речь автора,
вложенная в
аллегорические
«уста животного»,
звучит едко и
комично. И полные
сил герои предстают
Себастьяну в самых
неожиданных
ракурсах, о чем
он и повествует.

ISBN 5-87135-136-0

